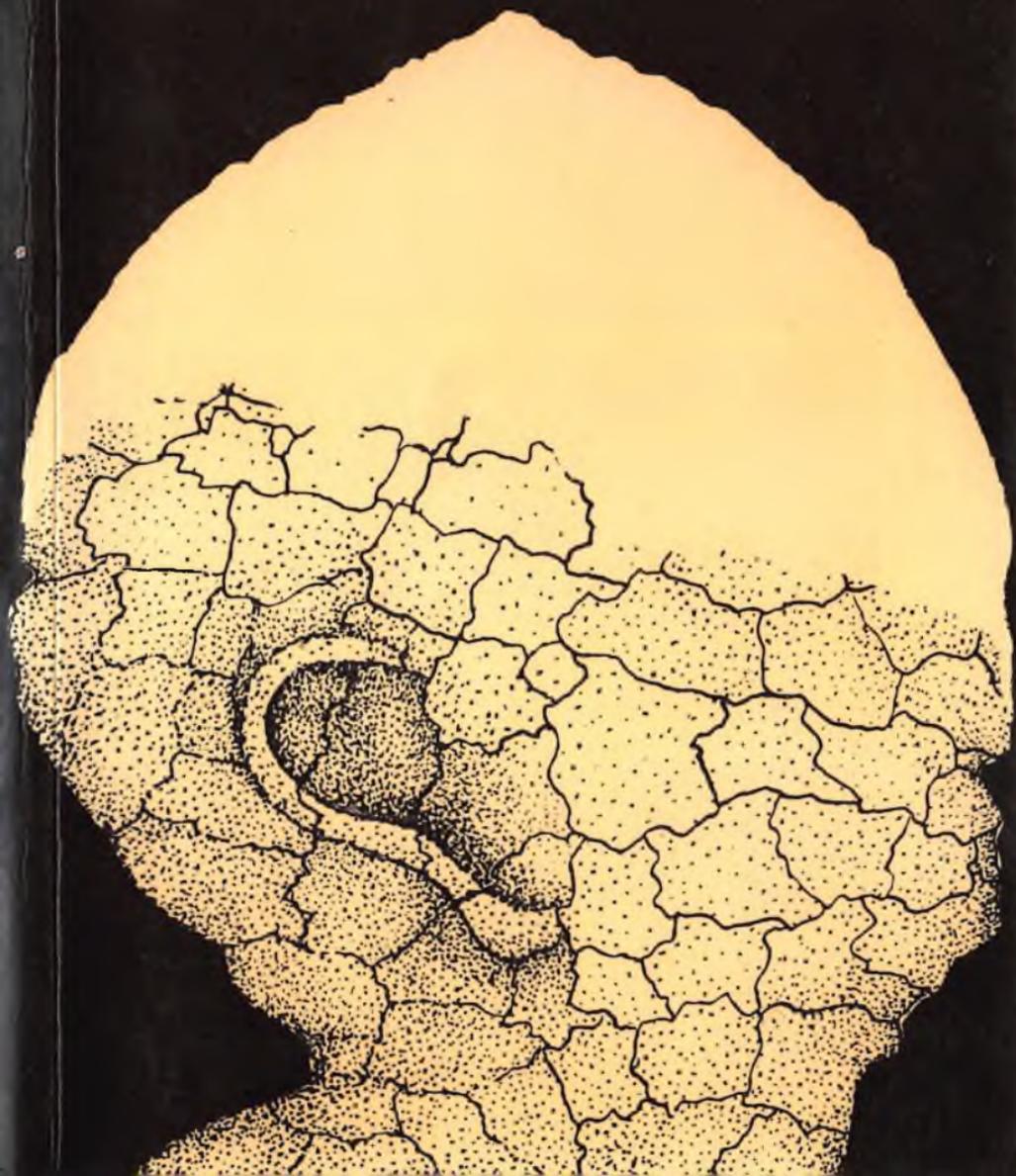


Виктор Верошильский  
СНЫ ПОД СНЕГОМ

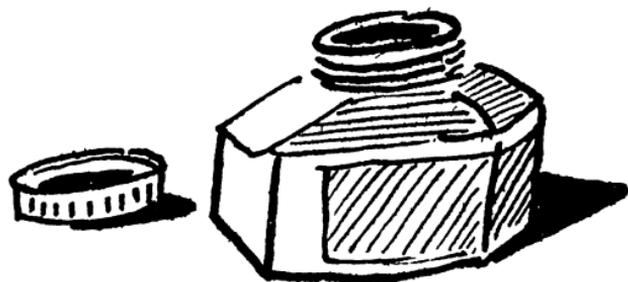




Wiktor Woroszyński  
DREAMS  
UNDER  
THE SNOW

Translated from the Polish  
by Russian Anonym  
and circulated in Samizdat,  
Moscow 1977

---



Overseas Publications Interchange Ltd

Виктор Ворошильский  
СНЫ  
ПОД  
СНЕГОМ

Повесть о жизни  
Михаила Салтыкова-Щедрина  
Анонимный перевод,  
распространяемый самиздатом



Overseas Publications Interchange Ltd

Wiktor Woroszyński: SNY POD SNEGOM  
First Russian edition published in 1980  
by Overseas Publications Interchange Ltd  
40, Elsham Road, London W14 8HB, England

First published in Polish  
under the title: «Sny pod śniegiem»  
(Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963)

© Wiktor Woroszyński, 1963 & 1980  
© Russian edition Overseas Publications Interchange Ltd, 1980

**All rights reserved**

No part of this publication may be reproduced,  
in any form or by any means, without permission.

**ISBN 0 903868 27 X**

Cover design by Andrzej Krauze

Printed in Great Britain  
by A. Wheaton and Company Ltd  
Henock Road, Marsh Barton Trading Estate, Exeter

Это уже совсем скоро.

Она не ходит с косой, не скалит пожелтевшие зубы, не стучит на пороге колотушкой из бедренных костей, она — внутри, растет во мне, как ребенок в матери, пронизывает меня и прорастает во мне, кто это — она, она — это я.

Как вы сегодня прекрасно выглядите, Михаил Евграфович, поздравляю.

Рядом, в гостиной, кавалеристы играют бедрами, на фортепиано чижика бренчат, чижик-пыжик, где ты был, на Фонтанке водку пил, водку пил, водку пил, водку пил.

Все умерли.

Некрасов, исхудавший, высохший, в белой, разрезанной ножницами рубашке, содрогающийся при каждом прикосновении ткани, в запавших глазах мученика неподвижны сосульки слез, рука свисает с постели, рядом с которой та робкая на коленях, а за стеной уже побрякивает длинно-волосый в стихаре.

Тургенев, баловень судьбы, вдруг согнутый в дугу, диктует побелевшими губами великолепной иностранке, которую он любил всю жизнь и которая его любила, они жили под небом более ласковым, чем наше, ясный летний день и начало повести, когда на комнату опускается тишина.

Нигилисты считают, что.

Нигилистов выдумал Тургенев, чтобы ободрить себя — считают, что нет ничего кроме тела, но в годину смерти: поцелуй меня, любимая, дунь на догорающую лампу и прощай.

Единственный нигилист это я.

Лизанька, небесное существо, позволь облобызать твои сладкие ножки.

Ах, Мишель, какой вы смешной, непохожий на других людей, но я вас уважаю и люблю.

Елизавета Аполлоновна, позвольте сообщить вам, что вы существо без чести и веры.

Мишель, не будь смешным.

Нет ничего кроме тела.

Несчастное тело Некрасова, высосанное и выжатое этим страшным городом, плывет самым широким проспектом на плечах толпы, за ним погребальное пение, сегодня мы хороним поэта, возможно, равного Пушкину, большего, большего, да равного – говорю, медленно вращаются скрипящие колеса кареты.

Господа, нас четверо, помянем покойника приятным ему образом. Есть ли у кого-нибудь карты? До кладбища как раз успеем партию.

Это всего лишь двенадцать лет.

Унковский – приплюснутый, посеревший – еще иногда заходит.

Лихачева разнесло – сенатор.

Невозможно спать, невозможно читать, перо выпадает из рук.

Елизавета Аполлоновна ждет.

Это уже совсем скоро.

Это уже столько лет.

Столько лет совсем скоро.

Не взглянуть бы, Михаил Евграфович, вы замечательно выглядите.

## 2

Я.

Но кто это – я.

Я, Михаил Евграфович Салтыков, дворянин тверской

губернии, рожденный дня 15 января 1826 года, сын коллежского советника и кавалера Евграфа Васильевича Салтыкова и Ольги Михайловны, урожденной Забелиной, вскормленный грудью крепостной кормилицы, учившийся и наказывавшийся за строптивость в Царскосельском лицее, направленный на гражданскую службу по X классу, многократно отмечаемый Высочайшей Немилостью либо Милостью, уволенный в отставку сановник, дерзкий литератор, сам себя прозвавший Щедриным, последний редактор запрещенного за неблагонадежность журнала, муж прекрасной Елизаветы Болтиной, отец двух не слишком удавшихся детей, совесть России, сварливый старец, одиноко умирающий в просиженном, со скрипящими пружинами, кресле.

Салтыков-Щедрин, автор многих книг, этой не написал, хотя в ней есть и его слова.

Итак я, ни соотечественник Михаила Евграфовича, ни его современник, обитатель чуждых ему ландшафтов и свидетель не предвиденных им событий, я, который никогда не подъезжал в кибитке к крыльцу вятского губернатора, хитроумно не проигрывал в винт петербургскому цензору, не восстанавливал против себя Самодержца Всероссийского издевкой над установленным порядком, не писал сказок про карася-идеалиста, протокола по следствию над раскольниками, а также смиренных писем к неумолимой маменьке, я, иной, чужой, автор сказа, которого являюсь хозяином единственным и законным.

Но для моего климата, времени и всего, что я изведаль, — здесь нет места.

Так вот еще иначе: его „я” и не его, мое и одновременно не мое — „я” Михаила Евграфовича, сконструированное из собственных показаний и косвенных, из документов, произведений, воспоминаний, и, наконец, из домыслов, да, сконструированное, созданное, но в эту конструкцию, прежде чем она возникла, проскользнуло мое „я”, — автора, и оно соединяется с ней, отождествляется, не живет во вне, но заключается в ней — и вот он я — дворянин тверской губернии, я помню львиные пасти на стенах Царского Села

и запыленный архив рязанской Казенной палаты, боюсь маменьки Ольги Михайловны, пишу жестокую и смешную историю города Глупова, переживаю с начала до конца необыкновенную жизнь русского писателя, сначала: пурпурный комочек крика, а над ним растроганная борода крестного отца — „этот будет воякой”, до конца: старец в кресле, а смерть в грохочущих, как стаканчик с игральными костями, почках, в каждом сгнившем, расползающемся нерве, в растаптываемом без усталости копытами боли мозгу — это я, Михаил Евграфович Салтыков, прозванный Щедриным.

Но раз так, то что же тут может быть законом, кроме этого „я”, что же еще может принимать или отклонять показания о том, как было, что еще может обладать глазами чтобы видеть, устами чтобы говорить, рукой чтобы поднимать и опускать занавес?

Вот сын писателя, шестилетний Костя, смотрит вместе с матерью и сестрой из окна на траурный кортеж. И вдруг из одного экипажа высовывается голова и плечо отца, а в его руке — цветная игральная карта. Мгновенье — и отец исчезает в глубине кареты.

Воспоминания ребенка были записаны полвека спустя, но закон этой книги допускает их достоверность, и отсюда: почтим, господа, покойного приятным ему образом.

Однако, когда тот же Константин защищает мать: неправда, что она была ветреной, жаждавшей лишь развлечений, думавшей только о себе, к мужу же равнодушной и нетерпеливой, неправда, она была самой нежной, самой верной супругой, мужественной подругой, самоотверженной сиделкой, и он сам понимал это и ценил, и любил ее на склоне лет точно так же как в дни молодости — когда он так горячо и гордо защищает мать, то хотя сыновняя любовь вызывает во мне, авторе конструкции, симпатию, однако предлагаемая этой любовью поправка к образу Елизаветы не может быть принята, ибо я, умирающий Михаил Евграфович, вижу Елизавету иначе, что и высказал хотя бы в письмах к доктору Белоголовому, человеку, которому доверяю, и даже если таким образом будет обижена прекрасная, некогда, в самом

деле, любимая, ничего не поделаешь, она должна изведать эту обиду.

Такой тут господствует закон, и раз приняв его, не будем об этом больше говорить.

Я.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

С пледом на коленях, в кресле со скрипящими пружинами.

Чирик-пырик, где ты был, на Фонтанке водку пил.

Этот баловень судьбы стеснялся собственного счастья.

Я не стесняюсь несчастья.

Салтыков-Щедрин, может быть не совсем подлинный, а может быть как раз?

### 3

Лицей размещается в крыле императорского дворца; когда в ночной тишине раздается скрип досок под чьими-то недостаточно осторожными шагами, можно на миг забыть, что это Оболенский шпионит с бессонной самоотверженностью, и вообразить себе, что сам Царь размеренным солдатским шагом направляется на свидание.

Ваше Величество — молоденькая фрейлина приседает в церемонном реверансе.

*Mais vous êtes belle* — Николай милостивыми пальцами берет зардевшуюся за подбородок.

Это для него и второго брата, Михаила, создал Александр Лицей.

Но императрица-мать не согласилась на демократические фанаберии, нашептанные Александру якобинцем Сперанским.

Великие князья никогда не узнали товарищеских отношений с ватагой шумливых дворянчиков, не играли в снежки, не соперничали в борьбе за лавры курсового поэта, не читали Жан-Жака, не лязгали зубами в карцере.

Это все для нас — будущих столпов трона.

Будем генералами и министрами, приумножим мощь России, передвинем границы дальше на юг, запад и восток, умирим каждую смуту, каждого врага поставим на колени — мы, самые лучшие, самые верные, избранные.

Его превосходительство министр Михаил Евграфович Салтыков отклоняет просьбу посла Австрии.

Его превосходительство канцлер Михаил Евграфович Салтыков просит напомнить султану, что решение принято бесповоротно.

Его светлость наместник Михаил Евграфович Салтыков обещает пощаду всем бунтовщикам, которые сложат оружие до захода солнца.

Мы, наделенные высочайшей привилегией узнать, что Париж стоит мессы и что Калигула однажды приказал ввести своего иноходца на заседание сената, мы, вознесенные высоко, чтобы никогда не смешаться с толпой, которая не знает о Париже и Калигуле.

Преданные слуги монарха, правители самой сильной империи мира.

Дуняша — простонал во сне граф Бобринский.

Дмитрий Толстой мечется на твердой постели, подушка соскользнула на пол, темная голова бьется о железные прутья.

Потом снова тишина.

Скрип приближается и замирает у дверей спальни.

Оболенский шпионит.

Видно, ему не спится, так же, как и мне.

Омерзительный фарисей.

Гольтгойер тоже не лучше.

Все злые, злые, злые.

Если бы знали, что я о них думаю.

Думайте, что вам угодно, лишь бы в порядке были перед начальством.

Совесь нужна человеку в частной жизни, на службе же и в общественных взаимоотношениях решает начальство.

Предписание составил великий князь Михаил.

Солдафон.

Из нас тоже хотят сделать шпионов и солдафонов.

Профессор Баршев учит, что высший идеал справедливости превосходно воплощается в кнуте.

Его превосходительство Михаил Евграфович Салтыков приказал выпороть заправил и подстрекателей.

Не хочу.

Маменька дорогая, возьми меня отсюда.

Маменька дорогая, позволь мне остаться в Москве, там было так хорошо, у меня были товарищи, я делал успехи, педель ни разу руки на меня не поднял.

Маменька, прошу.

Но, Мишенька, ты знаешь, как мы тебя любим, это для твоего же блага, ты сделаешь блестящую карьеру.

Маменька.

Это только сначала трудно привыкнуть, но, Мишенька, ведь ты разумный мальчик.

Господа, Салтыков снова ревет.

Салтыков, не мешай спать.

Отстаньте.

Плакса, позорит Лицей.

#### 4

Всегда один.

Аллеями, в шелест опадающих листьев, шорох осыпающегося со старых колонн великолепия, к лебедям, теряющим пух на озере, в сжимающую сердце царскосельскую осень.

Богини язвительно кривят выщербленные губы.

И вдруг – просвет в кустах, и вытянутая на берегу фигура, большие башмаки едва не касаются воды.

Отступить – но тот уже встает, оправляет мундир, смотрит исподлобья и, видимо, успокоенный, снова ложится. Рядом раскрытая книга.

Извините, я не хотел помешать – трехгранная шляпа с головы.

Ладно, без церемоний.

Он на несколько лет старше, некрасивый, прищеватый, без улыбки, но неожиданно кажется, что это кто-то близкий, понимающий, почти брат.

Вы тоже от них убегаете.

Пожатие плеч.

Не интересуют меня.

Вы знаете, они все время про конюшню.

Это называется инстинкт самосохранения.

Но это ужасно.

Как все вокруг.

Ну да.

Он откладывает книгу, погружает пальцы в растрепанные волосы.

Нас учат презирать материю, поэтому материя, к которой мы, несмотря ни на что, обращаемся, принимает тривиальную и уродливую форму. Ты веришь в Бога?

Я не знаю.

Ты не можешь верить в такого Бога, как они. Дух, оторванный от материи, ужасен. Должна возникнуть новая религия, сознающая, что дух совершенствуется через совершенствуемую материю. Тогда земля перестанет быть юдолею слез. Я пробовал объяснить это Коху.

Вы разговариваете с воспитателем о религии?

Хотел, но он посадил меня в карцер.

Эта гримаса должна означать улыбку. Новый знакомый не умеет улыбаться. Но все же немного посвободней.

Вам повезло, что дело ограничилось карцером.

Можешь называть меня Мишей.

Я тоже Миша. Салтыков.

Буташевич-Петрашевский. Читаешь что-нибудь?

Стихи.

Эти? Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой.

Глубокий вздох. Лишь бы не ошибиться.

С свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой.

А это? Enfin sa bouche flétrie ose prendre un noble accent et des maux de la patrie ne parle qu'en gémissant.

Еще бы. Nous qui faisons le procès à tous les mauvais Français, parlons bas, parlons bas, ici près j'ai vu Judas.

Как две собаченки обнюхивающие друг друга со все большим жаром.

Wie heiter im Tuillerieschloss/blinken die Spiegelfenster,/ und dennoch dort am hellen Tag/ gehn um die alten Gespenster.

Каждое слово имеет значение само по себе, но к тому же, а может и прежде всего, становится опознавательным знаком, радостным сигналом взаимопонимания: ты такой? такой! это ты? это я.

Беранже – но также и я, Петрашевский.

Гейне – но его словами, пока у меня нет собственных, представляюсь я, Салтыков.

Напротив, в окнах дворца розово заходит солнце.

А тогда вы тут был?

Ты собирался говорить мне ты.

Ты тут был?

Он жил на той стороне парка, в том деревянном доме с колоннами. Однажды я встретил его у озера.

Неужели?

Я шел за ним до самого дома. Он был задумчив, не заметил меня. Перед крыльцом стоял какой-то экипаж. Он громко рассмеялся и вбежал на крыльцо.

Я завидую тебе, что ты его видел.

А когда это случилось, нас заперли в дортуаре, чтобы мы не пошли к нему. Я продышал в замерзшем стекле маленькое окошечко, но за ним был только снег.

Солнце зашло.

Ты уже должен идти, Миша. Мы не можем показываться вместе.

Я знаю.

Попытка улыбнуться.

Инстинкт самосохранения.

Именно.

Про эту материю я не совсем понимаю.

Иди уже.

Что это значит совершенствовать материю?

Я тебя прошу, иди.

В шелест листьев, в сумерки, в шумное одиночество.

Будет ли он моим наставником и другом?

5

Пока наконец пришли.

Осторожно постучали в дверь, осторожно, словно нерешительно, мне даже не пришло в голову, что из-за этого, мгновенье радости: она, и гордости: ах, безумная женщина, непослушными пальцами я боролся с задвижкой.

Кабалеров, вы? Чему обязан в такое время? А господин полковник?

Андреев.

Итак, чем обязан?

Ничем, мы так, просто так.

Ежились, бормотали под носом, убегали неуверенными взглядами.

И лишь когда Кабалеров решительно откашлялся, а полковник опер руку на саблю, они начали расти передо мной, камень неумолимым трибуналом, а у подножья высочайшего подозрения — я, потный, побледневший, ничтожно петляющий.

Не помню.

Не упорствую, — только говорю, что не помню.

Если это можно назвать знакомством.

Он был на старшем курсе, я на младшем.

Ну да, несколько раз.

Возможно, что и другие лица, но я не могу припомнить.

Нет, никакой определенной цели.

Повторяю, что не помню.

(Повторяю, что не помню, но помню и память о нем не покинет меня пока жив; повторяю, что не помню, отрекаюсь

от друга и наставника, отхожу от стены, чтобы она не рухнула на меня и не погребла среди развалин; изворачиваюсь, стараюсь выскользнуть из западни, повторяю, что не помню.)

Не помню.

По большей части пустячные брошюры.

Я был тогда очень молод, я окончил Лицей восемнадцати лет от роду.

В начале 1846 года я порвал с ним всякие отношения.

Пожалуй только на улице.

Я не относился к этому серьезно.

Между нами никогда не было дружеских отношений.

Мы относились друг к другу скорей недоброжелательно.

Не помню.

Не знал.

Не интересовался.

В произведении, за которое я был сослан, внимательный и непредубежденный взгляд усмотрел бы направление прямо противоположное идеям анархии, а не их пропаганду.

Больше не помню.

Все это, помня о присяге, сообщаю в согласии с совестью, настолько, насколько меня не обманывает память, отнюдь не обдумав своих ответов заранее.

Подписал титулярный советник Михаил Салтыков.

Ассесор вятского губернского правления Кабалеров.

Полковник жандармского корпуса Андреев.

Спокойной ночи, господа.

Нет, не в обиде.

На сгибающихся ногах, мокрый от пота, в кандалах унижения и страха.

Я был мальчиком замкнутым и слишком угрюмым, чтобы суметь сблизиться с ровесниками в Лицее; в глубине души я тосковал о такой близости и неоднократно

исподтишка присматривался к тому или другому из товарищей: может он? сейчас подойду и скажу — но не знал, что должен сказать, не подходил; такая минута, как с Петрашевским, не повторилась больше ни с кем.

Я даже совершил выбор друзей: среди них был Унковский, учившийся на младшем курсе, и еще двое или трое, показавшиеся мне серьезней остальных; и с их стороны я тоже видел некоторое расположение, однако я не умел дать им понять, что жажду настоящей дружбы, а не проявления мимолетной симпатии.

Если бы кто-нибудь другой, хотя бы один из этих дурачков, болтающих о конюшне и портном, сделал первый шаг в мою сторону, я бы его тоже не оттолкнул.

Никто не сделал такого шага.

Я внушал им робость.

Я не имел понятия — почему.

Я не знал себя.

Поздно я открыл, что я угрюмый; это меня потрясло.

Когда после скандала с Гроздовым Лицей перенесли в Петербург, я в праздничные дни начал посещать гостеприимного друга писателей, Языкова. Я не входил в комнату, в которой собирались гости, а садился в соседней, против открытой двери, и оттуда внимательно прислушивался к спорам о критике и поэзии.

Тогда-то я впервые увидел нашего Бога.

Он был изможденный, сутулый, у него были длинные волосы и чахоточный румянец; он говорил резко, агрессивно, расхаживая по всей комнате, не вынимая рук из карманов неуклюжего сюртука.

Я, как и все, поклонялся ему, но расстояние между нами было непреодолимым.

Впрочем, мне было достаточно, что я его вижу и слышу. Вторым человеком, к которому я сторонкой присматривался, была молодая женщина, высокая, статная, очень смелая в обхождении, со смуглым цветом лица и блестящими черными волосами, собранными в кок. Она больше походила на цыганку, чем на даму — это впечатление усиливали ее длин-

ные серьги и браслеты — однако литераторы, собиравшиеся у Языкова, всегда оказывали ей почтение.

Так вот однажды на вечере у Языкова какой-то незнакомый мне до тех пор хвостун и пустомеля, по фамилии, кажется, Комаров, проникновенно рассказывал о своих мнимых успехах, причем заврался самым невероятным образом.

Все слушали его со снисходительным видом, но неожиданно Бог, как обычно расхаживавший из угла в угол, положил ему руку на плечо.

И зачем вы столько врете, Комаров?

Лицо Комарова тут же приняло плаксивое и удивленное выражение.

О, Боже мой, зачем я лгу! — воскликнул он с пафосом и одновременно с искренним изумлением.

Нянька вас в детстве уронила — спокойно добил его Бог. Присутствующие разразились смехом.

И тогда эта женщина взглянула на меня.

Посмотрите, господа, чудо! Наш угрюмый лицеист соизволил улыбнуться.

Она произнесла эти две фразы своим низким, словно слегка охрипшим голосом — и в первое мгновение я не понял, о ком идет речь.

Лишь когда все взгляды обратились ко мне, а Комаров захихикал и потер руки, я понял, что она совершенно не обращая внимания на мое присутствие, не считаясь с тем, что предмет ее шутки может почувствовать себя болезненно задетым, говорила обо мне.

В этом кружке никто не считался с чьим-либо уязвленным самолюбием.

Сам Бог не принимал во внимание подобные мелочи.

Для меня это была ужасная минута.

Меня потрясло не то, что я стал предметом шутки, но то, как она меня охарактеризовала.

Угрюмый лицеист.

Меланхолия является привилегией молодых поэтов — встал на мою защиту Языков.

Я отвернулся, в передней схватил шинель.  
Угрюмый.

Что же странного, что у меня нет друзей.

Никогда я не изведаю женской нежности.

Буду в их глазах угрюмым и смешным.

Если бы я был другим.

Не сумею быть другим.

Поэтому всю жизнь никого.

Обескураженный тащился я в Лицей по каменному,  
геометрическому Петербургу.

Только Петрашевский такой же, как я, но Петрашевского  
уже нет.

## 7

Шаги Оболенского то удаляются, то вновь приближаются,  
чтобы по предательски скрипящей доске пола против воли  
прокрасться в мою память.

Все еще Лицей.

Уведомляю вас, милостивые родители, что в отношении  
наук я в настоящее время шестой, а что касается поведения  
девяти.

Сначала я был шестнадцатым, но в течение одного месяца  
многих обогнал.

Я был бы и по поведению шестым, но monsieur Беген —  
человек достойный презрения.

Меня должны были передать другому воспитателю, но  
Беген сам напросился, что хочет меня взять, ибо надеялся  
на доход, при этом вовсе не заботясь обо мне.

В Лицее вообще не любят пришельцев из Москвы.

Беген, как только убедился, что не может рассчитывать  
на то, на что было рассчитывал, очень плохо отрекомендовал  
меня генералу.

Тут достойный презрения Беген исчезает за кулисами.

В ореоле мягких и твердых знаков, с дребезжащим хвостом эпитетов и рифм неуклюжей допушкинской музыки (ибо в истории литературы мы никогда не приблизимся к Пушкину, как по всеобщей истории не дойдем до французской революции), вступает Гроздов, мой очередной преследователь.

Что это там у тебя, Салтыков, не прячь, не прячь, и так видел.

Отдай эти бредни.

Полагаешь, что разбираешься в канонах стихосложения лучше, чем преподаватель российской словесности?

За предосудительные литературные опыты.

За равнодушие по отношению к замечаниям и продолжение предосудительных литературных опытов.

За непослушание и повторяющиеся предосудительные опыты.

Гроздов еще не сходит освищенный с лицейских подмошков, но пока — перемена и беззаботный рекреационный гомон.

Кто станет Пушкиным Тринадцатого Курса?

Брунст шьет изысканней, чем Маркевич.

Чепуха, моему дяде Маркевич соорудил панталоны, говорю вам, божественно.

На Одиннадцатом есть Зотов, на Двенадцатом — Семенов.

Пушкиным Тринадцатого будет Салтыков.

К Даме, Очаровавшей Меня Своими Глазами.

Господа, что это за дама очаровала умника?

А все же Брунст это Брунст.

Профессор Баршев учит, что высший идеал справедливости превосходно воплощается в кнуте.

В связи с изменением устава профессор Баршев перед концом учебного года изменил свои взгляды.

Высший идеал справедливости не воплощается в кнуте, а лишь в треххвостой плетке.

Parlons bas, parlons bas, ici près j'ai vu Judas.

Всем встать и к стене. Поднять матрасы.

Проявленное расследование выявило, что Унковский

и князь Эрдели прельстились никчемным обаянием новых идей, которыми бывший воспитанник Петрашевский ослепил их разум. Как особенно податливых влиянию подобных фальшивых доктрин постановляется.

Parlons bas, parlons bas.

Тут продолжение роли Гроздова.

Салтыков, поздравляю, как-никак ваше стихотворение в петербургском журнале.

Я не нуждаюсь в ваших поздравлениях.

Салтыков, этот ответ звучит дерзко.

Тринадцатый курс заявляет, что игнорирует господина Гроздова.

Бунт? Бунт? Вы еще меня попомните!

Лишь теперь он окончательно сходит со сцены, а вместе с Гроздовым — мы все, по четыре, военным шагом, в темно-зеленых мундирах, раз-два, раз-два, с красными отворотами, раз-два, впереди худой генеральский кадык.

По Закону Божьему — отлично, по Истории Римского и Русского Права — очень хорошо, по Немецкой Литературе — хорошо.

К тому же обучался рисованию, фехтованию и танцам.

Направляется на статскую службу по X классу, в свидетельство чего.

Как возвращающийся сон, от которого просыпаюсь с усилием, а когда засыпаю, он снова у меня перед глазами.

Но бывают и другие сны.

## 8

Вот какой сон приснился Мичулину, Ивану Самойлычу, когда истощенный тщетной борьбой за существование и не надеясь уже ни на какие перемены судьбы, он лежал в горячке на своей нищенской постели.

Он очнулся в каком-то совершенно неведомом ему государстве, в совершенно неизвестную эпоху, и сквозь густой

туман окружавший его вдруг разглядел контуры огромной, медленно вращающейся пирамиды.

Но какого же было его изумление, когда он подойдя увидел, что образующие ее колонны сделаны вовсе не из гранита или какого-нибудь подобного минерала, а все составлены из таких же людей, как он, только различных цветов и форм. И вдруг замелькали ему в глазах различные знакомые лица, все расположенные так низко, и так бес-сознательно, безлично улыбающиеся, что Ивану Самойлычу вдруг стало совестно и за них, и даже за самого себя, что он мог водить знакомство с такими ничтожными существами.

Однако через мгновенье пирамида остановилась и, со стынувшей в жилах кровью, Мичулин заметил в самом низу, в бедственном и странном положении, придавленного грузом стоящих над ним — кого же, как не самого себя.

Голова несчастного Ивана Самойлыча была так изуродована тяготевшей над ней тяжестью, что лишилась даже признаков человеческого характера, вся же фигура носила такой отпечаток нравственной нищеты, такой подлости, что настоящему Мичулину стало невероятно душно и досадно и захотелось устремиться, чтобы вырвать своего страждущего двойника из-под гнетущей его тяжести.

Но какая-то страшная сила приковывала его к одному месту, и он со слезами на глазах и гложущей тоской в сердце обратил немой взор свой к высоте.

А куда вы теперь обратите взор, Салтыков?

Кукольник отодвигает книгу на край массивного письменного стола — движения у него театральные, в них надлежит прочесть разочарование в моей личности и отвращение к произведению.

Ничего другого не могло присниться вашему Мичулину.

Дамочки, например.

Ничего, только пирамида.

Цензура. Цензура тоже ошибается.

Уже само опубликование сочинения без ведома начальства.

На резиновом лице Кукольника можно прочесть отеческую заботу.

Могли бы вы прийти посоветоваться, ну, хотя бы ко мне.  
Будучи одновременно литератором, я умею взглянуть с более широкой точки зрения.

Не преувеличиваю.

С годами.

Именно так я и объясняю членам комиссии, молодость, говорю, преходящие порывы.

Но князь гневается. В солдаты — и баста.

Что это вас угораздило, где вы видели эту пирамиду.

Я молчу.

На голове ощущаю твердые подошвы Кукольника.

Краем глаза вижу его плечи, сгибающиеся под тяжестью массивных башмаков князя Чернышева, шпоры князя дырявят желтые щеки подчиненного, что впрочем не мешает последнему шевелить красноречивыми губами.

Молодость, говорю, преходящие порывы.

А кто ж это придавливает самого военного министра?

Вращательным движением вбивая ему в череп каблуки, кто ж это упрекает князя: ой, недосмотр, ой, чиновник предается пагубным идеям, а министр спит?

Стоит апрель тысяча восемьсот сорок восьмого года.

Резкие порывы с запада сотрясают пирамиду.

После выстрелов в толпу на Бульваре Капуцинов, 24 февраля народ Парижа ворвался в Тюильри и сверг короля.

13 марта началось восстание в Австрии, Меттерних в женском платье убежал из Вены.

19 марта тронулась Италия.

А Берлин, а наконец Польша, этот непотухший вулкан, лишь наполовину придушенный железной крышкой Империи.

В мартовском номере петербургского журнала появилась повесть, от которой веет духом западной анархии.

Скрипят гусиные перья доносчиков.

Цензоры слишком снисходительны.

А министр спит?

Даст Бог, все как-нибудь образуется, бормочет размякший Кукольник.

У императора доброе сердце.

В молодости я тоже провинился, написал историю, думал— Сибиря не миновать, а Его Величество все простил и теперь снова ко мне милостив.

Образуется.

Князь, правда, гневается.

Но не будем терять надежду.

Не терять надежду?

Пожалуйста, ваше благородие, лошади готовы.

## 9

В губернии довольно отдаленные.

Через Шлиссельбург и Вологду, Кострому и Макарьев на Унже, бескрайними лесами севера, весенним размокшим трактом.

Дзинь-дзинь-дзинь под дугой, а ямщик погоняет лошадей. Значит, это на самом деле?

Рашкевич посапывает во сне, а просыпаясь при каждом более сильном толчке хватает меня за руку, неожиданно пугаясь, не выпрыгнул ли я из кибитки.

Я тут, капитан, можете спать спокойно.

Платон на облучке рядом с ямщиком, но тоже беспокоится, то и дело оборачивает кудлатую и добродушную рожу, удобно ли мне ехать.

Верный слуга.

Платон, Платон, и все, Платон, из-за тебя. Если бы ты тогда из Москвы не донес маменьке, что меня направляют в Лицей, а я противлюсь этому, вся жизнь покатила бы иначе.

Платон широко раскрывает невинные глаза.

Как же было не донести, барин. Ведь страшно. Ольга Михайловна строгая.

Все глубже в лес.

Из-под копыт правой пристяжной вылетают комья грязи и разбиваются о толстые, коричневые стволы.

А еще, оборачивается Платон, от сумы да от тюрьмы не открестись, говорит простой народ.

Над нами Бог, а мы под начальством.

Философ из тебя, мой добрый Платон.

Дорога мрачная и однообразная.

На стоянках Рашкевич долго и добросовестно ругает станционных смотрителей, затем с легким смущением поглядывает на меня.

Жандармы озябли, не сочли бы вы уместным.

Да с величайшей охотой.

Человек, водки!

Жандармы сипло благодарят и вытирают мокрые усы рукавами.

А вы, капитан, не сделаете ли мне одолжение.

Почему бы нет, служба — службой, а с благородным человеком.

Впервые испытываю это блаженное оцепенение и тепло, а вслед за ними — неожиданную сердечность к чужому детине в эполетах, с которым связало меня мое несчастье и его собачья служба.

А потом — дальше в лес, в грусть и неизвестность.

Деревья расступаются перед кибиткой и снова сходятся за ней, сплетаясь в густую, темную стену, которая бесповоротно отгораживает меня от всего, что было раньше.

Далеко за ней остались пророки, провозглашающие наступление золотого века, и народы, свергающие троны.

Далеко Петербург кубами зданий нагроможденный и лебеди на царскомосельском пруду.

Букинисты, которые тревожно оглядываясь, достают из-под прилавка французские новинки, и заламывающие руки актеры Александринского театра.

Философия, литература, мечты.

И вы, Алина.

Мне не позволили проститься с вами.

Даже записку я не успел написать.

Je suis comme Calypso qui ne pouvait se consoler du départ de Télémaque, avec cette petite différence que c'est Calypso qui

a quitté son Télémaque. En attendant je suis ici à augmenter les flots de Viatka par les torrents de mes larmes.

Мишель, меня нельзя так любить, у меня муж и я уже старая, мне скоро исполнится тридцать лет. Я люблю вас как младшего брата.

Милая, милая Алина, увижу-ли я ее когда-нибудь?

Рычание расходившейся Ладоги.

Выжженная до фундаментов, Кострома.

Лица одичавших от голода туземцев за Макарьевым.

Что это вы грустите? Посмотрите-ка лучше, птицы-то в лесу сколько! а рыбы-то в реках, даже дна от множества не видать!

Adieu, ma bonne soeur, et surtout souvenez vous de l'inconsolable Calypso.

Бескрайними лесами севера, размокшим весенним трактом.

## 10

Вы гордец, Михаил Евграфович. Вы думаете: что тут разговаривать с этой глупой вятской барыней, какая-то там губернаторша. Все равно не поймет.

Ну, что вы, Ариадна Антоновна.

Вы из большого света, из петербургских салонов, я знаю, вы ходили в оперу, слушали Виардо, Фреццолини. Музыка, огни, общество изысканных дам.

Ариадна Антоновна.

Не возражайте, пожалуйста. Это правда, я этакая провинциальная насадка. Муж, дети, прислуга — и для украшения — эти скучные приемы, вроде сегодняшнего. Я должна с этим смириться и не пытаться разговаривать с человеком вашего круга. Или самое большее: как вы находите наш городок, милый, не правда ли?

Ариадна Антоновна, прошу поверить мне, вы несравненно прекрасней и интересней всех дам, с какими я только мог встречаться в Петербурге.

О, я услышала столичный комплимент. Это даже приятно. Но не опасайтесь, я не приму его слишком буквально. Женщине моего возраста подобные вещи может говорить только бонвиван с Невского проспекта. Смешно, но мне кажется, что я покраснела. Да говорите же что-нибудь, пока я не приду в себя.

Ариадна Антоновна, стыдно признаться; но я не вел такой жизни, какую вы подозреваете. Петербург — серый и грустный. Опасаюсь, что я теперь упаду в ваших глазах.

Нет, нет, вы. Ах, какой я себя чувствую смущенной. Вы читали „Wahlverwandschaften” Гете? Разумеется, читали. Помните место, когда Шарлотту охватывает смущение? Если бы я могла вас видеть не только на этих ужасных приемах.

Аким Иванович очень ко мне расположен.

Вы хотите дать мне понять, что благодарность к мужу делает невозможной дружбу с его женой. Стало быть вы подумали. Какая я глупая.

Я вовсе, вовсе так не подумал, я не в состоянии сказать то что думаю без того, чтобы не быть тут же неверно понятым. Я хотел только выразить радость, что не только Аким Иванович, но и вы отнеслись ко мне благосклонно. Что бы я делал в этой Вятке, прошу не гневаться, может, она и милая.

Не оправдывайтесь. Ради Бога, не оправдывайтесь. Как же Вятка может быть для вас милой.

Но сейчас, когда я встретил вас.

Когда я вас встретила. Ну да, мы дикари, но порой мы тоскуем о какой-то красоте и тогда. Вы знаете, мы абонируем журналы, этот господина Сенковского и господина Краевского тоже. Я читала ваши повести и думала.

Вы читали мои несчастные повести.

Я пыталась представить себе автора. Очень ли он грустный и злой на этот мир. Наверно да, думала я, но раз он пишет, значит верит в некий смысл, в нечто скрытое, может далекое, что лишь наступит, и раз так, то не может же он быть по настоящему грустным и злым, как все обыкновенные люди, которые не видят ничего, кроме этого маленького мирка

и так и живут, со дня на день, со дня на день, как мы здесь, всегда со дня на день. Вы надо мной смеетесь?

Вы необыкновенная женщина, Ариадна Антоновна.

И в самом деле, зачем вам разговаривать со мной серьезно. Вполне достаточно этих любезных словечек.

Ариадна Антоновна, вы в самом деле необыкновенная женщина, и я был бы очень счастлив, если бы мог ответить: да, я верю в этот скрытый смысл, стремлюсь, вижу. Но я в темном лесу, оглушенный, спотыкающийся. Ничего не знаю.

Вы ничего не знаете.

Узнал только что, что рядом кто-то, кого я меньше всего ожидал здесь встретить.

Значит вы.

Я вам не помешаю? Ариадна Антоновна, это страшный эгоизм, другие тоже жаждут познакомиться с пришельцем из большого света.

Господин Салтыков. Госпожа Пащенко, жена управляющего Палатой Казенных Имуществ.

Очень приятно.

Елена Дмитриевна, я оставляю гостя под вашей опекой.

Ну что, как вы находите наш городишко, милый, не правда ли?

Я просто восхищен.

## 11

Сон измучит, испугает, нарушит покой.

Сон успокоит, утешит, откроет мыслям то, о чем велено молчать наяву.

Веры Павловны на этот раз сон, героини не моих романов.

Не моих, а словно немного и моих.

Не моей шла дорогой, а все же перешла мою дорогу.

Вера Павловна, эмансипатнка, из родительской вырван-

ная неволи, за молодого выданная медика, из тех новых людей, что появились на столичной мостовой в середине пятидесятих годов.

Не сразу сон, сначала жизнь; стало быть швейная мастерская, которой она заведует; тут женщины, сбжавшие от унижения и нужды, дружно трудятся в гигиеничных условиях.

Она счастлива, потому что всем ее существованием управляет рассудок и сердце, не вековые предрассудки.

Так вот во сне светлое будущее увидела Вера.

Оно приняло форму дворца с прстранной архитектурой, с огромными окнами, наполненного цветами, а также электрическими солнцами.

Вокруг — поля пшеницы с тяжелыми колосьями, апельсиновые рощи, ярко цветущие сады.

Где я? — вопрошает она, пораженная.

Ты в России — слышится таинственный голос. — Смотри дальше.

Полы, двери, вся мебель во дворце будущего — из чудесного легкого металла, называемого алюминием.

Из алюминия же, а также из хрустали, столовые приборы; на них едят в большом зале — ах, сколь наполнен деталями этот сон — общий обед из пяти или шести блюд; горячие блюда ожидают в специальных углублениях, наполненных кипятком.

В другом зале жители будущего проводят вечера; посмотри — танцы, музыка, пение; состав же капеллы беспрерывно меняется, тут ведь, когда ему хочется, каждый артист.

Все красивы и здоровы, носят удобные и исполненные грации туники, а их движения, как женщин, так и мужчин, характеризуются несказанной гармонией, заметной не только во время отдыха, но и в работе.

Ибо в течение дня они все, естественно, работают; но сколь радостен этот труд, легкий, быстрый, с пением; сейчас как раз уборка урожая, почти все делается машинами, люди только управляют ими, а от зноя их защищает огромный

полог, передвигающийся по мере продвижения работ.

Но каким чудом это свершилось?

Как? Обыкновенно. Просто люди стали умнее, стали обращать на пользу себе громадные силы и средства, которые прежде тратили без пользы и прямо во вред себе. Трудно было людям только понять, что полезно, они ведь были в то время еще такими дикарями, такими жестокими, безрассудными. Но когда, наконец, они стали понимать, исполнить было уже нетрудно.

Такой сон приснился Вере Павловне, эмансипантке.

Сон легальный, хотя его автор узник.

Толстая печать, как колесо кибитки, отиснутое на мокрой дороге: дозволяется.

Государственный узник продолжает находиться за стенами, но рукопись подобно арестанту, у которого не нашли состава преступления, под жандармским конвоем покидает крепость.

Провела следственную комиссию.

Придавленная печатью лежит она на письменном столе Некрасова.

В типографии Вульфа набирают ее астматические наборщики.

Они слишком утомлены, чтобы видеть такие чудесные сны.

Но потом пахнувший краской номер кладут под подушку стриженные барышни, которые убежали из дому, и лохматые медики, завтрашние спасители человечества.

Ты видела будущее. Говори всем: будущее светло и прекрасно. Любите его, приближайте его, работайте для него, переносите из него в настоящее все, что можно перенести.

Да, это прекрасно.

Как ослабела цензура, позволяет видеть столь прекрасные сны.

Даже в Петропавловской Крепости.

А на моем пути — вятская топь, тверской овраг и рязанская навозная куча.

Прошло дорогу светлое, Веры Павловны маленькими ножками.

А в крутогорской губернии, ибо и такая есть или нет ее. Permettez vous, Щедрин, Николай Иванович, здешний чиновник.

Эй, Павлушка, отчего ты водку не подаешь? Разве не видишь, чиновник наехал?

Укатали сивку крутые горки.

Это такая известная поговорка.

В одном из далеких уголков отечества нашего.

Щедрин начинает рассказ о Крутогорске.

Быть может я, Салтыков, когда-нибудь вырвусь из Вятки.

Умоляю ваше превосходительство ходатайствовать у Его Величества, дабы соблаговолил.

Щедрин уже не питает тщетных надежд.

Когда въезжаете, читатеть, в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончается, что вы ничего уже не можете требовать от жизни.

Отсюда даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру: куда ни взглянете вы окрест — лес, луга да степь, степь, лес и луга.

Крутогорск, эй, Крутогорск. Вы позволите, милостивый государь, отставной подпоручик, Живновский. Крутогорск, сторона, так сказать, антропофагов, сторона лесная, купцы бородатые по улицам ходят, кафтанишко на нем оборванный, а в сапоге миллионы носит. Разве не сказано в Писании: овцы без пастыря — толку не будет.

Ой, ваше благородие, если бы хоть до Покрова обождать. Обождать-то, для-че не обождать, это все в наших руках, да за что ж я перед начальством в ответ попаду — судите сами? В таком случае за подожданье по гривне с души, а душ в волости с четыре тысячи.

Так-то брат, в нас, канцеляристов, княжны влюбляются. Какие брат у нее ручки, скажу тебе, истинное чудо. Что ручки, тут главное дело не ручки, а станovým быть.

А уездный лекарь у нас — вот это туз. От села к селу со здоровенным шприцем ездит, оспу вам, говорит, прививать

буду. Смилуйся, сердечный. Почему бы и нет, можно бы и смилостивиться.

Губернское начальство, князь Чебылкин высказывается об изящных искусствах.

Странное какое-то они нынче принимают направление. Естественно, порок надо клеймить, но так, чтобы не пострадала нравственность. Например, в комедии — представьте, господ авторы, взяточника, омерзительную фигуру, во всем, так сказать, величии ее безобразия. Но в финале пусть из-за декорации вдруг высунется рука, которая и схватит негодяя за волосы, да как потрясет его! Тут занавес опускается и зритель выходит из театра успокоенным.

А вы что об этом скажете, Щедрин?

Я, господа, не имею никакого мнения на этот счет.

И на затуманенном фоне — замученный, запачканный, к милой землице недолей пригнутый — хор крестьян.

Последний грош забрали.

Коровушку-кормилицу забрали.

Девка им приглянулась, на позор забрали.

Да что ж ты не бьешь меня, ваше благородие? Може без битья из меня ничего не вытянешь.

А есть где-то на конце дороги святые храмы, с ангелами, с архангелами, с пищей райской.

Итак, ездит Щедрин по делам службы по крутогорской губернии, смотрит, слушает, знакомится с людьми, но уже ничему не удивляется.

По деревням ездит, посещает губернские приемы, ничему не удивляется, мнения своего не высказывает, грустно ему порой бывает, а если горилкой угощают, так пьет.

Когда же грусть и тоска охватывают, странная однакож вещь — думает. Слыл я, кажется, когда-то порядочным человеком, водки в рот не брал, был бодр и свеж, трудился, надеялся, и все чего-то ждал, к чему-то стремился. И вот какая перемена. С какой изумительной быстротой поселяется в сердце вялость и равнодушие ко всему.

Оглянешься вокруг себя, всмотришься в окружающих людей и поневоле сознаешь, что все они право, недурные

ребята. Они гостеприимны и общительны — это раз; к тому же они бедны и сверх того отягощены семействами и потому самое чувство самосохранения вынуждает их заботиться о средствах к существованию. Как бы вы ни были красноречивы, как бы ни были озлоблены против взяток и злоупотреблений, вы однако должны согласиться, что человек такое животное, которое без одежды и пищи ни в коем случае существовать не может, следовательно.

Э, батюшка, нам с вами вдвоем всего на свой лад не переделывать, а вот лучше дернем-ка водочки, закусим селедочкой, да сыграем пулечку.

Конечно, дернем.

Таков этот Николай Иванович, здешний чиновник.

Щедрин, о котором я, Салтыков, пишу в первом лице.

Мой двойник.

Немного иной чем я: пообыкновенней, поспокойней глядящий на жизнь, примиренный со своей крутогорской судьбой.

Пожалуй, каждый носит в себе этих двух: неистового Салтыкова, обладателя, еще бы, индивидуальной нравственности — и человека толпы, Щедрина, который с большим или меньшим отвращением приспособляется к окружающему.

Из салтыковского нутра извлекаю его, стыдливого, наружу: Щедрин, будь.

Созданный, чтобы свидетельствовать обо всем, чему хочу дать свидетельство.

И для того, чтобы я, пережив и изведав столько, сколько он, остался собой, Михаилом Евграфовичем Салтыковым.

За ними пришли ночью.

Спаслись только мы — умершие и сосланные прежде чем шпик Антонелли, широко раскрывая мечтательные глазки, впервые переступил слишком гостеприимный порог Петрашевского.

Идет тысяча восемьсот сорок девятый год.

Вихри свободы уже не дергают за полу монахов и наместников.

На поле последнего сражения Паскевич составляет рапорт Николаю.

Венгрия лежит у ног Вашего Императорского Величества.

Царь шевелит тяжелыми, опухшими ступнями в кавалерийских сапогах.

Ему чего-то недостает.

Подбегает князь Орлов, опускается на колени, складывает у ног помазанника головы безумных русских.

Царь подписывает: прочел.

Это бредни, но преступные и непростительные.

Осужденных выводят на плац.

Идет снег.

Бьют барабаны.

Снег падает в траурный ритм барабанов.

Петрашевский сбрасывает белый капор, которым хотели закрыть ему лицо.

Григорьев дрожит всем телом и что-то шепчет посиневшими губами.

Достоевский плачет.

Прекрасный, как ангел, Спешнев, презрительно улыбается, ветер развеивает его волосы.

Шестнадцать крестьян в мундирах экзекуционного взвода.

Глухой лязг оружия.

Миша, друг мой самый близкий, меня там нет, но я вместе с тобой заглядываю в пропасть дул, вместе с тобой умираю, помня про все, ни о чем не жалея.

Спешнев, прости, я не любил твоих ожесточенных тирад, мне в них слышался свист гильотины, я боялся дня, в котором ты начнешь слишком легко проливать кровь виновных, но я ошибся, это не ты убийца, ты жертва.

Плещеев, я пренебрегал тобой за поэтическую экзальтацию, а ныне.

Достоевский, я вас почти не знал. Наш Бог после первой повести объявил вас гением, а после второй, но это уже не

имеет значения, не имеет значения, не имеет значения.

Поручик Григорьев.

Над Григорьевым ломают шпагу.

Аааа!

Гонец соскакивает со вспененного коня.

К но-ге.

Божьей милостью мы, царь и самодержец.

Какой наш царь милостивый.

Какой добрый.

Смертную казнь заменил сибирской каторгой.

Это ничего, что уже расстреляли их души на плацу Семёновского Полка.

Тела еще позвенят цепями в нерчинских рудниках.

Царь добрый.

Аааа!

Григорьев сошел с ума.

По худому землистому лицу Достоевского текут слезы.

Петрашевский прощается с друзьями.

Обходит всех по очереди, целует в губы.

А я?

А меня там нет.

Я не существую, нас двенадцать таких, которые дешево отделались.

До этого выплевали легкие в петербургском осеннем тумане, прыгнули головой вниз в вонючий канал, у них разорвалось сердце по пути в места довольно отдаленные или за ранее обнаруженные преступления погребены живьем — выпали из-под милостивейшего наблюдения, не существуют, их занес добродетельный снег.

Меня там нет.

Могу облегченно вздохнуть.

А вдруг?

Кто-нибудь вспомнил, поворачивается обратно от двери, следственный чиновник выжидающе поднимает невысохшее перо.

Был еще такой Салтыков, из Военного Министерства.

Нарочного в Вятку, Салтыкова допросить и в оковы.

Деликатно, тихонечко, это они, они не любят шума, а может никто, мне показалось, притворюсь, что не слышал, разве это поможет, так что прошу, прошу, господа, я вас ждал.

Ариадна Антоновна, вы?

Ах, милый, вы наверно меня прогоните, порядочная женщина так не поступает, правда?

Ариадна.

Ведь я никогда, поверьте мне, но я уже не могла иначе.

Ариадна, дорогая моя, значит вы.

Какие у вас холодные губы, мой желанный.

## 14

Чтобы я остался собой, Михаилом Евграфовичем Салтыковым.

Прекрасная маска, кто ты?

С полным почтением и равной же преданностью имею честь быть вернейшим и покорнейшим слугой Вашего Сиятельства.

Прощайте, милостивые родители, прошу благословить и к ногам вашим припадаю, неизменно послушный и любящий.

Ни за что не сниму ее.

Проходит год, проходит второй.

Ваше Величество, сын наш, Михаил, вследствие юношеского легкомыслия.

Слишком рано.

Седьмой год с того дня, как Ваше Императорское Величество.

Да слишком же рано.

Стало быть огурцов в бочке и солонины заготовить на зиму.

Затопи печь, Платон, видишь, лязгаю зубами.

Потому что мороз, барин, ой, мороз.

Милостивый друг и брат, должен тебе признаться, что ситуация складывается не слишком благоприятно.

Новому начальству видимо не по вкусу мои близкие отношения с прежним губернатором.

Мне очень жаль Акима Ивановича, я ему многим обязан.

Если бы ты меня увидел, тебя бы удивили происшедшие во мне перемены.

Не хвастая, должен сказать, что во всей губернии не найдешь чиновника более старательного, чем я.

Это вызвано именно влиянием Середы, который привил мне радение к делам службы.

Как же мне не чтить память этого безупречного человека.

Следовательно ты ошибаешься, приписывая мою преданность семье Середы другим мотивам.

Уверяю тебя, что в отношении madame Середы, Ариадны Антоновны, я питал сыновьи чувства, она же пеклась обо мне поистине по-матерински.

Зажги свечу, Платон.

К этой бричке – пара гнедых и упряжь.

Титулярному советнику Салтыкову предписывается.

И не думаю снимать, при резком движении сама сползает.

Барин, от купца Изергина прислали бочку тенерифа.

К чертовой матери.

Вы же, ваше благородие, в прошлом году сами через канцеляриста требовали.

Требовал? Я требовал? Убью мерзавца!

Руки дрожат, как же дрожащими поправить маску.

Милостивый брат, матушка не пишет мне и с сентября не присылает денег. Она вероятно предполагает, что у меня должны быть побочные доходы; так вот пусть она избавит себя от труда толкать меня в этом направлении.

И все же я делаю карьеру.

Колежский ассесор Салтыков соизволит заняться.

Как десять лет назад другой вятский ссыльный, Герцен, я наблюдаю за наблюдающими, и от имени губернского правления заверяю полицейские рапорты о самом себе.

Mein Liebchen, was willst du noch mehr?

Свободы.

А, это не предусмотрено.

Хоть вой, как дворняга, хоть tenerиф бочками лакай.  
Мне было двадцать два года и лучезарные надежды.  
Мне тридцать и ревматизм.  
Окутанного пледами верный Платон кормит с ложечки.  
Встану, буду топтаться по Вятке — еще год, еще десять —  
почтенный старец, чиновничий патриарх.  
Ваше Величество, еще раз осмеливаюсь умолять.  
Все время слишком рано.

15

Идут, рыдают, поют — это война.  
Шепчут, читают какие-то письма, машут руками.  
Ах ты, мой кормилец, что же я теперь сирота буду делать.  
Солдатки головой о землю бьются, потом те, что покраше,  
гуляют, а старухи просят милостыню, много их.

С театра военных действий — известия отсутствуют.

Шагает серая скотинка, Москвой ее называют или Присягой, мешки за спиной, под шинелями пообиты кости, офицеры спят верхом, интенданты с жирными мордами на телегах пожитки подсчитывают — война.

Возвращаются на деревянных ногах — скрип-скрип — послушайте ребята, что вам расскажет дед, а было это на четвертом бастионе, как раз роздали кашу, вдруг он как пальнет из мортир, я только перекрестился, а Васька ложку ко рту подносил, так с этой ложкой и остался, а голову это ему начисто оторвало.

Подрядчики шампанское хлещут, барышни поют патриотические романсы, о воеводе Пальмерстоне, что разделял Русь по карте, и другие, звон во всех церквях, на плацу рекруты вповалку лежат, в честь наших храбрых солдатиков — оркестр, гимн!

Россия истекает кровью и мечется в тифозной горячке.

Корреспондент пишет из осажденного Севастополя: из-за креста, из-за звания, из-за угрозы не могут люди принять

эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство любви к родине.

Россия истекает кровью.

Крестьян на гумне секут кнутом.

Есть и такие, что сами идут в солдаты; если выживешь, говорят, свобода выйдет, и со всей семьей; против вздорных фантазий правительство выкатывает пушки, хотя в Крыму их не хватает.

Его Величество намерены направиться ближе к театру военных действий.

Брат Коля вступил под знамена.

Матушка хочет, чтобы и я тоже.

Из одной неволи в другую.

В Вятку прибыл генерал Ланской формировать дворянское ополчение.

Толстый, добродушный, с седыми бакенбардами.

Матушка не хочет, чтобы я женился на Лизе, потому что у Лизы нет приданного.

Что же такое эта любовь к родине?

В Севастополе гибнут герои, но тут о любви к родине толкует свора негодяев, воруя сухари и сукно.

Жена Ланского это бывшая госпожа Пушкина.

*Porte mon deuil pendant deux années, puis remarie toi, mais pas avec un chenapan.*

Надеюсь, Ланской не *un chenapan*.

Не хочу под знамена, хочу быть свободным.

## 16

Добрая Пащенко с пылающим лицом.

Nathalie, душенька, позволь себе представить многообещающего юношу, который вследствие прискорбного стечения обстоятельств.

Аа, подойдите поближе, я слыхала, что вы немножко поэт.

Все еще ослепительной красоты, снежная богиня с чуточку

раскосыми глазами и высокой короной каштановых волос.

Ваше превосходительство, если бы я мог, если бы я смел рассчитывать на заступничество.

Ослепительной красоты и алебастровой молодости, бедный Пушкин: о, как мучительно тобою счастлив я, когда, склоняясь на долгие моления, ты предаешься мне нежна без упоенья, стыдливо-холодна.

Я поговорю о вас, мы с генералом питаем расположение к молодым поэтам.

Стыдливо-холодна, восторгу моему едва отвечаешь, не внемлешь ничему и оживляешься потом все более, более— и делишь наконец мой пламень поневоле.

Пушкин, настоящим вы принимаетесь в члены Почтенного Ордена Рогоносцев.

Кого из нас ты будешь оплакивать? Того, который будет убит.

Бледный француз пламенем в морозный воздух, Пушкин в растоптанный снег.

Буду несказанно благодарен вашему превосходительству.

На тринадцать лет старше, покручивали усы, вились вокруг, мой сын без ума от вас, разве вы хотите, чтобы он покончил с собой, может и в самом деле ничего, но поэта довели до безумия, Николай тоже водил за ней масляными глазками, почему камер-юнкер Пушкин не в форменном мундире, расположение к поэтам, поможет ли она мне выбраться из ловушки.

Да подойдите поближе, *Hélène*, что твой *protégé* всегда такой робкий, о, так-то лучше, а вы уже вступили в супружеский союз.

Он добывается руки барышни Болтиной, дочери бывшего здешнего вице-губернатора.

Надеюсь, что избранница окажется достойной господина Салтыкова. *Enchantée faire la connaissance de vous.*

И для поцелуя белую ручку в бриллиантах.

Война проиграна.

Царь умер.

Министры остались без мест.

Свободен.

Слишком рано — четырежды определял Николай.

Ваше Величество, на этот раз в высшей степени пора.

В Петербурге говорят — оттепель.

На трон вступил старший сын, Александр II.

В далеком Лондоне Герцен дергает за веревку.

Император, твое царствование начинается под невероятно благоприятной звездой. На тебе нет кровавых пятен, тебе не пришлось, чтобы взойти на трон, пройти по площади, залитой кровью. Ты счастлив, как ни один из твоих предков.

Николай, меценат литературы. Я сам буду твоим цензором, Пушкин.

Николай, любитель балета. Дирекция театра к исполнению: фигура вторая, весь ансамбль направо, солист двойное па, ансамбль марш к просцениуму и смирно.

Николай, страж святой традиции. Вся земля принадлежит помещикам, это вещь святая и покушаться на нее нельзя.

Умер мыслитель и стратег, покоритель Европы и суровый отец подданных. Венгрия лежит у твоих ног. Бредни преступные и непростительные. Слишком рано.

Конец февраля, в Петербурге говорят оттепель, но у нас это не видно.

Буераков, помещик, славящийся своим просвещенным разумом, задумывается над сущностью оттепели.

Оттепель — это возрождение природы, но одновременно — обнажение всех навозных куч.

С гор стекают чистые ручьи, а со дворов — все нечистоты, всякие гнусности, которые скрывала зима.

Воздух наполнен благоуханием весны, ароматами возрождающейся жизни, но одновременно — все миазмы, все гнилостные испарения поднимаются от помойных ям.

Оттепель — пробуждение в человеке всех сладких тревог

его сердца, всех лучших его побуждений, но одновременно — возбуждение всех животных инстинктов.

Правда, ведь это почти стихи выходят?

Правда.

Николай умер — ну и что?

Терпение.

Генерал возвращается в Петербург.

Вступается у нового министра за сосланного поэта.

Новый министр двоюродный брат генерала.

Двоюродный брат представляет дело Александру.

Свободен.

Серое декабрьское утро, снег порошит, пар из лошадиных ноздрей замерзает в воздухе.

Прощай, Вятка.

Прощай, Крутогорск — а, господин Щедрин тоже отправляется в путь?

Да, я оставляю Крутогорск окончательно, но странное дело — вместо ожидаемой радости необъяснимая печаль ранит мне сердце, а слезы, невольные слезы, текут из моих глаз. Ужели я в Крутогорске оставил часть самого себя? Быть может ржавчина привычки до того пронзила мое сердце, что я теперь боюсь, я трушу перемены жизни, которая предстоит мне?

И вот перед затуманенным взором проходит какая-то странная процессия.

Во главе сам князь Чебылкин, но сколь изменившийся, постаревший, дряхлый. *Les temps sont bien changés*, говорит он, поникая головой. А далее: городничий Фейер, отставной подпоручик Живновский, уездный лекарь, группа становых приставов и кандидатов на эту почтенную профессию. На всех же лицах написана забота и тревога.

Куда же вы так поспешаете? — спрашиваю я, пораженный.

В этом месте от толпы отделяется мой добрый приятель, Буераков.

Неужели вы ничего не слышали? А еще считаетесь образцовым чиновником.

Нет, я не слышал. Не знаю.

Ведь это похоронная процессия проходит перед вашими глазами.

Но кого же хоронят, кого же хоронят?

Прошлые времена хоронят — торжественно отвечает мой приятель.

18

А поэта Пушкина — воскресить.

Кто же за него вступился? — ведь не Ланской — может сентиментальный дух Жуковского, гувернера наследника престола, ныне самодержца Всероссийского.

Чувство благородства воспитаннику привил и научил значению, как сам с гордостью признавался императрице-матери, слова: долг.

Может младший братишка, либеральный князь Константин.

Итак строптивый негр, в забвение сосланный Николаем, с почетом возвращается, и хоть не телом, так живым стихом, и растроганная Россия внемлет: здравствуй, племя младое, незнакомое! не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их за-слонишь от глаз прохожего.

Тут и Анненкова пробил час, литератора из свиты нашего прежнего Бога, у Тургенева ныне на посылках; друг Тургенева — это его занятие и титул; в гостиную вбегает запыхавшись: *mesdames et messieurs*, Иван Сергеевич сию минуту прибудет; но и другим охотно комиссии исполняет; вот, выплатив отступное наследникам, убитому поэту с энтузиазмом служит, сперва шесть томов, а когда цензура дальше отпускает вожжи, седьмой, дополнительный издает.

Россия внемлет: буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя; то как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя.

Когда он рухнул в снег, лицеистов заперли в дортуаре. Петрашевский в морозом скованное окно дышал, но за ним.

И этому внемлет Россия: лишь я, таинственный певец, на

берег выброшен грозой, я гимны прежние пою и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою.

И я читаю с дрожью пальцев, и сердце пронизывает боль: это о тебе, Пушкин, или обо мне?

На берег выброшен.

Сушу на солнце под скалою.

Но снова: и он по площади пустой бежит и слышит за собой — как будто грома грохотанье — тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой. И, озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется Всадник Медный на звонко скачущем коне.

Это здесь, в этом громадном городе, где воздух кажется спертым от тумана, смешанного с людским дыханием, городе скорбей и никогда не удовлетворяемых желаний, фальшивых улыбок, городе отравляющей лести и завистливого честолюбия, городе, в котором так трудно уснуть, а когда засыпаю — медь и гранит придавливают мне грудь.

По Высочайшей Милости вернулись мы, Пушкин, в этот город.

Сняв две комнаты на постоялом дворе Волкова на Большой Конюшенной, затыкая уши на чавканье и пыхтенье блистательной столицы, я разложил на столе бумаги.

Никто меня не знает, иногда только брат Дмитрий с порога: и что же, Миша, с твоей дальнейшей карьерой, какие намерен предпринять шаги?

А, ты снова за свое, он поднимает кверху руки, птичью голову наклоняет, еще из тебя не выветрилось.

Так что, ты уж сам на себя.

Минутку ждет и: тоже мне Пушкин тринадцатого курса, действительно.

Издам М. Салтыков.

Тургенев не одобрил, поэтому Некрасов отверг, не читая.  
А Катков сразу ухватился.

Катков говорят свинья, но он идет в ногу с духом времени и поднимает тираж.

Все идут в ногу с духом времени.

Граф Соллогуб поставил в Александринском Театре пьесу под названием „Чиновник”.

Крикнем на всю Русь, что пришла пора вырвать зло с корнем!

Восхищенная публика хлопает, забрасывает артистов цветами.

Всех переполняет единое возвышенное чувство.

Каждый бы только расцарапывал раны, разоблачал, бичевал.

Чем более безжалостны и горьки слова писателя — тем более горячи аплодисменты.

Направление, господствующее в литературе, названо обличительным.

Губернские очерки принадлежат к господствующему направлению.

Забавно: была пустота и мрак, и глушь, и непонятое одиночество, и маска на каждый день, и скрытое желание, чтобы как-нибудь об этом рассказать, и следовательно раздвоение на Щедрина и Салтыкова, на Щедрина, который и есть я, и в то же время не есть, и вдруг — господствующее направление и голос Щедрина в хоре, голос вовсе не самый дерзкий.

И меня нет, Щедрин существует реальной, чем я, со слегка неуверенной улыбкой остается на сцене, чтобы выслушать банальные похвалы и снисходительные порицания.

Господин Щедрин в своих интересных рассказах коснулся одной из болезненных сторон нашей действительности.

Факты, собранные Щедриным, большей частью так и остались голыми фактами, не проникнутыми мыслью, сырым материалом, который еще ждет своего художника. Каждый из сообщаемых им фактов, хотя бы и подлинный,

остается чуть ли не лишенным значения и не приводит ни к каким выводам.

Бедный Щедрин, несмотря на все я не думал, что он такой олух.

И только в журнале Некрасова.

Эти две статьи написал, правда, не Тургенев, или один из его высокородных друзей.

Их написали новые сотрудники, эти серьезные юноши в сюртуках и очках, умные сыновья захудалых провинциальных приходских священников.

Одни они поняли, почему Щедрин не возмущается во всеуслышание, не призывает небо к отмщению, не осуждает героев своих рассказов, но попросту их показывает: вот какие они, в таких условиях живут, так поступают, так говорят.

И я, Щедрин, поставленный в те же условия, немногим отличаюсь от моих товарищей.

Серьезные юноши в длинных, педантичных и несколько, стоит признать, скучноватых очерках разбирают существо дела.

*Sublata causa, tollitur morbus* — заключают они наконец.

Дворянство хуже владеет латынью.

Цензор проверяет поговорку в толстом словаре.

И хоть содержащаяся в ней мысль кажется рискованной, после некоторого колебания он пропускает: во-первых, антик, во-вторых же — ничего не поделаешь, дух времени.

А правда, как обстоит дело с этим духом времени?

Пока Катков печатает последние главы, проходят месяцы и дух времени слегка выветривается.

В плодисментах публики как будто слышится усталость.

Актеры продолжают призывать со сцены: эй, искореним зло! — но в их голосах звучит рутинка.

Что же изменилось?

Высокие Комиссии бок о бок с царем ломают голову над исправлением государства.

Возможно, когда-нибудь до чего-нибудь и дойдут.

Публика, пожимая плечами, выходит из театра.

Вы читали Токевиля?

Нет, не читали.

Токевиль выпустил в Париже новую книгу.

Французы, говорит он, считали свое положение тем невыносимее, чем больше оно улучшалось. Для плохого правительства особенно опасны минуты начинающегося улучшения. Зло, которое терпеливо переносили, считая его неизбежным, становится невыносимым при мысли, что от него можно избавиться. Зло, по правде говоря, уменьшилось, но усилилась чувствительность к злу.

Что вы хотите этим сказать?

Ах, ничего, во всем виновата разоблачительная литература.

Во всяком случае мы ею сыты по уши.

В Петербурге скучно.

В провинции беспокойно.

За последнее десятилетие прошлых времен крестьяне бунтовали триста пятьдесят раз.

За первое пятилетие новой эпохи—четыреста восемьдесят.

Во всем виновата литература.

Разве крестьяне умеют читать?

Серьезные юноши в сюртуках хвалят очерки Щедрина и сердятся на публику за угасающие страсти.

Я уважаю критиков, но мне их слегка жаль.

Они не знают, что я, Салтыков, с каждым днем все меньше доверяю силе слова и уже хватит с меня литературы, которая хоть бы и очень желала этого, ни в чем не сумеет провиниться.

Я счастлив, поручая Салтыкову, сказал Государь, и надеюсь, что и служить, вдохновляемый тем же духом, как и до сих пор пером.

Александр милостив ко мне — не то, что Николай.

Я тоже милостив к Александру.

В портреты монарха, как недовольное дворянство, не

стреляю, против тирании, обижающей первое в государстве сословие, рта не раскрываю, свободы, для спасения неволи, не требую.

Помазанник провозгласил реформу: чтобы провести ее необходимы новые люди; новые — значит честные и усердные; буду одним из них.

Так в конце концов исполнилась судьба, предназначенная мне еще в Лицее: сановник и слуга короны.

Но не слепая судьба.

И не кулаком царя, а его пальцами, формирующими новую жизнь отечества, стану теперь.

Тяжелый, из красного кирпича, пахнувший пылью и плесенью рязанский Кремль.

Раздвоенная борода старого служивого и медалей грозное позвякивание у ворот: а вам чего, ваше благородие?

Ваш вице-губернатор, Салтыков.

Салтыков, гроза провинции.

Ураган, сметающий бумажных людишек с липкими ладонями.

Сатрап.

Monsieur Салтыков считает, что он умнее всех.

Это предатель, поставить его перед tribunal d'honneur.

Тульское дворянство судило своих красных, самого князя Черкасского проучили, а мы, в Рязани, что мы?

А знаете, я ему попросту не кланяюсь.

Врешь, я сам видел, как ты согнулся до земли, это он тебе не ответил.

Меня назвали лжецом, прошу ожидать моих секундантов.

Перестаньте, милейшие, если начнет стреляться благонамеренное дворянство, мы этим только порадуем вице-Робеспьера.

Это про меня.

Вятские салоны со снисходительной улыбкой: наш Мирабо.

В Рязани я вице-Робеспьер.

Но вице-Робеспьер не произносит речей, не утверждает законов, не командует гильотиной на площади.

Вице-Робеспьер вязнет.

Не пальцами, формирующими жизнь, но судорожно раз-  
гребаящими бумаги.

За месяц две тысячи не рассмотренных.

Пьяный семинарист, главная сила учреждения: знает,  
когда ять и в каком месте запятая.

Что вы тут написали, ну скажите, что вы тут написали.

Бэ, мэ, ваше превосходительство.

Содержание, содержание, я спрашиваю про содержание  
бумаги, вы составили и сами не понимаете.

Бэ, мэ.

А, к черту.

Бумаги на стол, писаке в лицо, по полу змеей вьются  
четвертушки, дверь с треском настезь, бэ, мэ, ваше пре-  
восходительство.

Дураки, Боже мой, что за дураки, а впрочем слава тебе,  
что ты их создал такими, если бы они были поумнее, рас-  
тащили бы всю губернию.

Вязну в бумагах, в пыли, во фразах без смысла и связи,  
в улыбочках за спиной, в наступающем при моем приближе-  
нии молчании, лести одних, дерзостях других, тупости  
чиновников, ожесточенном сопротивлении дворянства, без-  
надежно вязну.

Реформа, реформа, помещики горлопанят на съездах,  
крестьяне не удобряют полей, потому что не знают кому  
они достанутся.

Один бывший военный: превосходно, говорит, господа,  
но как я лупил хамов по мордасам, так и буду, хоть бы на  
меня штрафа наложили с полтысячи.

А гуманист Павлов, сентиментальной поэтессы Каролин-  
хен супруг, сам, кажется, в герценовский „Колокол” за-  
метки посылал и на банкетах растроганный тосты за царя-  
освободителя произносил, но как только у Каролинхен рабы  
взбунтовались, розгами велел их учить и лично наблюдал,  
чтобы не слишком слабо.

А вы слышали господа об этом инциденте у помещицы  
Кислинской? Такими наши крестьяне неженками стали,  
пальцем их не тронь, словом посильнее не обидь, тут же

в знак протеста, imaginez vous, самоубийством кончают. Как раз вчера у госпожи Кислинской в саду, один Гаврила и второй, кажется, Ванька.

Это не Кислинская, это ее любовник Веляшев, известное дело, пехотный майор, рука у него тяжелая.

Садовым ножом по животу — и только бездельников и видели. Ваньке было лет четырнадцать, а Гаврила помоложе.

Господин полицмейстер.

К вашим услугам.

В утреннем рапорте вы мне не сообщили об этом инциденте.

Разве о всякой ерунде.

Будьте любезны отправиться под арест.

Михаил Евграфович, вы вероятно шутите.

Под арест, говорю. Под арест. А Кислинскую с полюбовником — под суд. Не потерплю. Под арест. Что я вас сам должен отвести?

Предупреждаю, что я буду жаловаться на превышение власти.

Грудью сановника, как буйвол: под арест, мерзавец!

И ропот за спиной.

Надо же вам было при этом аболиционисте.

А я его совсем, и вовсе у меня не было намерения.

Он что из тех Салтыковых?

Вечер.

Это не жизнь, а каторга, Лизанька, я больше не выдержу.

Но Мишель, папочка тоже был вице-губернатором и как-то не расстраивался.

Папочка был спиритом, душка.

Ах, Мишель, ты всегда такой раздраженный, я, право, не понимаю почему.

Господин Смирнов?

Я.

Из полумрака выступают запавшие щеки и выпуклый лоб,

прорезанный глубокой морщиной; лицо молодое, но измученное болезнью или многолетней бедностью.

Это значит.

Значит вы докопались, словно с радостью, констатирует он.

Можно ли мне сесть?

Разве что на кровать. Вероятно вам мешает темнота, но, к сожалению, керосин кончился. Это впрочем имеет положительную сторону, ибо вас не оскорбит наряд, в котором я осмеливаюсь принимать столь достойную особу.

Он злобно кривил губы и морщил лоб; перечисление тех неудобств, с какими я встречаюсь в его жалкой комнатенке, казалось радовало его; за радостью однако скрывалось возбуждение, возможно страх, верней же всего отчаяние и враждебность.

Я уселся на кровать, прикрытую грубой рогожей.

Вам не нравится моя деятельность в Рязани.

Худая фигурка Смирнова заколебалась на фоне оконного проема.

А вам нравится. Вы восхищены и горды собой. Геркулес в авгиевых конюшнях. Сам уберет извечный навоз. Ой-ли, так уж совсем сам? А, эти блохи четырнадцатого класса не считаются. Достаточно прикрикнуть, топнуть, обзвать похуже. Не успеют за день выписать всех формуляров, так пусть вечером приходят. Я, сам вице-губернатор, прихожу, а им слишком трудно? Только ведь я, вице-губернатор, экипажиком езжу, а они из слободы с сапогами в руках и до колен подзасучив брюки. Только что у меня жалованьишко соответствующее, а они. Что тут болтать. Вы статью прочли, докопались до автора, труда не пожалели, чтобы прибыть сюда и лично поглядеть на наглеца. Теперь вы встанете и скажете: я уничтожу тебя, блоха.

Он выбрасывал из себя эти фразы, полные боли и ненависти, лихорадочно, резко; казалось, что он как будто произносит их не впервые, словно уже раньше готовился к встрече со мной; но ведь не мог же он ожидать моего посещения; так что он верно в воображении произносил их и в лицо бросал мне обвинения.

Ну, жду, поторопил он. Прошу встать и сказать: уничтожу тебя, блоха.

Я встал и приблизил лицо к его, искаженному гримасой, лицу.

Господин Смирнов, сказал я, я пришел сюда, чтобы просить вас о сотрудничестве. Мне бы очень хотелось, чтобы вы взяли на себя редактирование губернских ведомостей. Не отказывайтесь.

Что, как, что вы, забормотал он.

Поэтому-то я вас и разыскивал. Вы честный человек. Я не такой как вы думаете. Мне крайне. Я никого не хочу тиранить, но впадаю в ярость, как только. Мне думается, что не должно быть так, как. Все зависит от того, найдется ли достаточно честных и мужественных людей. Вы первый кого я встретил в Рязани. Может потом еще найдем. Давайте вместе работать. Не отказывайтесь.

Клавдия, крикнул он, Клавдия!

Скрипнула дверь.

Я не знал, что кто-то был рядом.

Клавдия, зажги свет! Немножко керосина все же найдется. Значит вы не хотите меня уничтожить, а только. Клавдия, ты слышала?

Худенькая, маленькая женщина, почти девочка, внесла копящую лампу.

На стенах и низком потолке заплясали тени.

Значит вы такой. Я хотел в это верить, ведь я читал, но когда.

Я протянул ему руку.

Вы не отказываетесь? Будем вместе работать?

Его рука была горячей и влажной — рука чахоточного; но пожатие неожиданно сильное.

Только сумею ли я?

Необходима лишь честность, отвага и добрая воля, а это у вас найдется.

Клавдия молча переводила взгляд с его лица на мое и снова на его; в ее расширенных глазах светилась благодарность ко мне, что я не оказался палачом обожаемого

мужчины — и почти религиозное восхищение им, смельчаком, героем, победителем.

Что вы, черт побери, устраиваете с этой Кислинской!

Меня называют вице-Робеспьером, но это вовсе не означает, что губернатор Робеспьер, наоборот.

Губернатор — Муравьев, сын министра; папочка подлец, и яблоко от яблони на аршин.

Я не из тех Муравьевых, которых вешают — но тот, что вешает.

Пока еще нет, лишь про запас веревку мылит, до сих пор еще его нога не ступала на Антоколь, а дворянство трех литовских губерний — Виленской, Гродненской, Ковенской — самое верное, которое своей петицией об уничтожении крепостного права вышло навстречу намерениям Александра.

Итак, завтра Вешатель приступит к делу, а пока его славный предшественник на виленском престоле, Назимов, скачет с петицией в Петербург.

Царь склоняется к просьбе литовского дворянства и рескриптом на имя Назимова комитеты образует, комитеты, которые решат наболевший крестьянский вопрос.

Не только в Вильно и Гродно — по всей матушке Руси.

По губерниям начинается великая болтовня.

Но Робеспьерам или там даже каким-то вице-Робеспьерам не велено предоставлять слово.

Что вы, черт побери, Михаил Евграфович, с этой Кислинской?

Полагаю, Николай Михайлович, что кончились те времена, когда правительство терпело зверские издевательства господ над крепостными. Работа комиссии вот-вот подойдет к концу, крестьянин станет гражданином равным перед законом каждому из нас.

Бредни, Салтыков, какис там издевательства, вы видели

какие у этой Кислинской ручки. Это дама, будьте добры, не забывайте этого.

Есть неопровержимые доказательства, что Веляшев, с ведома и поощрения Кислинской, истязал этих ребят.

Уж сразу и истязал. Военный, мог слегка погорячиться, не надо делать из этого трагедии. Вы поддаетесь внушению слов, а слова — что ж слова, мы сами их выбираем. Вы хотите восстановить против себя общественное мнение губернии.

Ваше превосходительство, я не отступлю от своего мнения.

Как хотите, Салтыков, но я тоже не отступлю.

Суд вынесет приговор.

Увидим, Салтыков, какой.

Что же касается причины упоминаемого самоубийства малолетних, Ивана и Гавриила Афанасьевых, то суд видит в этом Божью волю и никого из смертных в состоянии обвинения не ставит.

Муравьев сияет.

Давайте забудем об этих раздорах. Я еду в Петербург, не желаете ли вы, чтобы я исхлопотал для вас награду?

Соблаговолите сообщить министру, что самой большой наградой для меня будет возможность расстаться с вами.

Можете рассчитывать, не премину передать Ланскому.

Муравьев торжествует в Рязани, а я — в Тверь.

Смирнова забираю с собой — в Рязани от него остались бы одни обглоданные косточки.

В Тверь я прибываю слишком поздно.

Еще полгода назад здешний комитет, в котором верховодил губернский предводитель дворянства Унковский (тот самый Алеша Унковский, в свое время исключенный из Лицея за податливость пагубному влиянию Петрашевского), так вот еще полгода назад тверской комитет либерально шумел, далеко идущие проекты посылал в Петербург, то, чтобы крестьян не в адамовом виде, но с причитающейся им землей освободить, то, чтобы создать постоянные избираемые органы по местным вопросам, шумел комитет, предлагал видно, чересчур много, ибо его живо разогнали, Унковского же — под надзор полиции и adieu, в Вятку.

На месте остались акулы.

Акулы хотят меня, разумеется, сожрать.

Единственная акула, которая бы меня, несчастного, возможно, пощадила, хоть тоже косо смотрит на мое назначение в Тверь, это матушка, Ольга Михайловна, гневно распростершаяся на своих обширных вотчинах.

Но от этого утешение маленькое.

Немного большее, что губернатор, Баранов, довольно приличный.

Приличный, но пугливый.

Еще не знает, в какую сторону все обернется.

Подлостей особых не делает, но и к достойным поступкам тоже мало рвется.

Поэтому один на один с акулами.

Щелкают пастью, я же гарпуном новых законов в уязвимые места целюсь.

На попытках одолеть друг друга протекают месяцы.

Как тут, наконец, с визитом в Тверь прибывает сам Александр.

Конечно, меня ему представят.

Он скажет: помню, Салтыков, а как же, радуюсь, что ты не обманул моих надежд, продолжай служить мне в том же духе.

Верный слуга Вашего Императорского Величества.

Царь входит; к уху помазанника — прилеплен министр двора, граф Адлерберг; далее великие князья и свита.

Смотрит на меня стеклянными глазами и — ни слова.

Очень пополнил и бакенбарды великолепно выросли с момента вступления на трон.

Между буйными офицерскими усами и подбородком, на который изящно заходят с обеих сторон бакенбарды — сочные, сложенные в капризный хоботок, губы.

Ни слова — и дальше прямо перед собой, в окружении свиты.

Ибо уже пора к императорской трапезе.

Что ж, видно, проголодался.

Все ничего не говорит, на сановников по обеим сторонам не обращает внимания, хоть граф Адлерберг то и дело со стула вскакивает в ожидании высочайшего бормотания, а Баранов застыл с вилкой в руке, как со сломанной серебряной шпагой, к рыбе и мясу не прикасается, только благоговейно губами каждое движение царских губ жадно повторяет, но властелин этого не замечает, властелин подкрепляется.

А другие ничего, уважая императора, едой и напитками не пренебрегают, правильно поступают, потому что если бы все так сорок разом пренебрегли, царь возможно бы заметил и к тверскому дворянству не питая, после известных выходов, излишнего доверия, мог счесть за нежелательное беспокойство.

Так что и я подкрепляюсь за царским столом, ничего из зрелища не пропускаю.

Теперь движение челюстей, измазанных жирными соусами, постепенно прекращается, Александр словно обдумывает решение, наконец, принимает его и согнутым пальчиком перебирает, Адлерберг и Баранов также перебирают, слуга с блюдом к монарху припадает, тот с непроницаемым видом выбирает вторую индюшачью грудку и дальше подкрепляется.

Что-что, а кухня в Твери — превосходная.

Великие князья точно также: едят и ничего не говорят.

А раз безмолвствует властелин и великие князья безмолвствуют, кто бы тут произнес словечко.

Царь уже не голоден.

Салфеткой сочные губы вытирает.

Встает.

Все встают, в горле недоеденные куски, что поделаешь.

Царь обметает стол и тех, что вокруг стола, довольно милостивым взглядом. Если на ком-нибудь крошки — царский взгляд сдувает.

Меня тоже обметает.

Обметение, ждем.

Теперь ведь произнесет, не к тому или иному в отдельности, но ко всем вместе.

Ясно, что так сподручней.

Не произносит.

Из трапезной без единого слова выходит, сверкающая свита за царем.

Но один из адъютантов вприпрыжку ко мне.

Великий Князь Константин Николаевич желает познакомиться с замечательным писателем.

Значит все-таки.

Константин, предводитель либеральной партии при дворе.

Не царь, но все-таки.

Сейчас?

Нет, немного погодя, подождите в коридоре у окна, пока Его Величество отпустит Великого Князя.

Стою в коридоре у окна.

Адъютант проверяет, хорошо ли стою.

Видимо хорошо, потому что уходит, не сделав замечания.

Открывается дверь, входит Константин, останавливается около меня, вбрасывает монокль в глаз, кивает мне головой.

Ваше высочество, тверской вице-губернатор, Салтыков Михаил Евграфович.

Здесьний дворянин?

Здесьний дворянин.

А! Читал ваши очерки, восхищался остроумием.

Читал, так читал, восхищался, так восхищался.

Монокль из глаза и в глаз.

Вы тут недавно в качестве вице-губернатора?

Недавно, ваше высочество.

Все еще пишете?

Все еще пишу.

А! Пишите, пишите.

Либерал, либерал, а обыкновенный идиот.

Кивает головой и к дверям.

Двери видимо знаком этикет: перед Великим Князем она распаивается сама.

Лизанька, детка, позволь заглянуть в твои невинные глазки.

Ах, Мишель, что вы находите во мне, вы умный, а я такая глупенькая.

Я напишу для тебя историю России, будешь самой престелственной умницей во всей губернии.

О, прошу не шутить так надо мной.

В самом деле напишу.

Дорогой господин Салтыков, вы знаете, как мы вас ценим, но Лиза еще дитя, куда ей выходить замуж.

Аполлон Петрович, прошу быть искренним, вы имеете в виду мое положение политического ссыльного.

Гм, но, того, дорогой господин Салтыков, родители всегда имеют в виду счастье дочери, не сомневаюсь, что она нашла бы его рядом с вами, но ведь это еще дитя, может через год, два, если вы не измените намерений.

Дражайший брат, окажи милость и купи десять фунтов конфет у Балли или Сальватора (на Большой Морской); выбери, прошу тебя, самого лучшего сорта, что-нибудь по полтора рубля за фунт, и чтобы вынесли дорогу; пусть кондитер сам упакует, а затем вышлет по почте по адресу: ее превосходительству Елизавете Болтиной; и не мешкай с этим, прошу тебя, ибо пятого ее именины.

Желаешь ли, Елизавета, взять в мужья раба Божьего Михаила?

Колоколами звенящая Москва, хоры, цветы, благополучия молодым, у Арбатских Ворот карета, новая дорога, новая жизнь, быстрее, быстрее, человек, быстрее!

Лизанька, небесное создание, позволь поцеловать твои сладкие ножки.

Я боюсь, Мишель, не подходите.

Ты любишь меня, Лизанька?

Люблю, Мишель, хотя ты такой смешной, такой смешной.

Сокровище мое единственное.

Совершенно не понимаю, что это мой строгий муж пишет и пишет.

Глупышка дорогая.

Так у нас скучно, пригласил бы ты хоть полицмейстера или председателя судебной палаты. Полицмейстерша играет на гитаре, очень милая женщина.

Ты в самом деле не понимаешь, что это мои враги?

Папочка тоже был вице-губернатором и не имел врагов.

Лиза, не заглядывай мне в карты, ты знаешь, что я этого не выношу.

Хахаха, Елизавета Аполлоновна, заботясь о сохранении красоты, питается только молодыми барашками, молодыми петушками, раз спросила в лавке молодую щуку, но приказчик сказал: мы у рыб метрики не спрашиваем.

Унковский, я запрещаю тебе издеваться над моей женой, запрещаю, слышишь!

Так скучно, возьму карты погадаю себе, откину пики и выйдет хорошо.

Кто это был, Лиза? я спрашиваю, кто это был?

Это бедный монах, собирает на постройку храма.

Лжешь, это слуга этого адвокатишки, этого жокея, этого мерзавца!

Павел Иванович не жокей, он ездит верхом для спорта.

Елизавета Аполлоновна, позвольте вам сообщить, что вы существо без чести и веры.

Мишель, не будь смешным.

Тургенев уговаривает, чтобы я устроил журфиксы для молодых литераторов; конечно, это было бы неплохо; но я устрою журфиксы для литераторов, а Лиза назовет разных гвардейцев и что из этого получится?

Ты бы мог быть полюбезнее с гостями, не так уж ты болен.

Где мое лекарство?

Ой, я забыла послать человека.

Изваяние, мраморное изваяние, каменное сердце, не позаботится о больном муже.

Ах, оставь, Мишель, ну, позабыла, ну, завтра куплю.

Нет, нет, ты не забыла, это ты нарочно, проклятая змея!

Хоть бы ты уж поскорей умер!

Лизанька, остановись! Еще не сейчас, возьмем все назад,

еще не будем так обращаться друг с другом, мы еще любим, мы еще молоды, счастливы, это только Тверь.

Это только Тверь.

25

Кончайте же, наконец, господа, фыркнул раздраженный монарх.

Председатель редакционной комиссии, граф Панин (акула из акул) доложил, что конец.

Царь подписал и в полицейских участках приготовили розги на случай радостных беспорядков.

19 февраля 1861 года, та историческая дата, с которой.

Но беспорядков, грустных или радостных, пока вовсе.

Comme votre peuple est apathique — удивлены иностранцы.

Крестьянин не знал, что свобода.

А когда узнал, не поверил, что это та, настоящая.

Ненастоящую подбрасывают ему помещики, а настоящую спрятали под сукно.

Царь добрый, в его манифесте свобода немедленно, и с землей.

А в помещицкой — с огрызком земли, и не сразу, а после выкупа, а пока — на барщину ходить, оброк платить, только что с ягод и кур необязательно.

Отдайте настоящую свободу, царя нашего, батюшки.

Батальоны.

Я покажу тебе, хам, настоящую.

В Кандеевке убитых восемь и раненых двадцать семь.

В Бездне девяносто один остались лежать на месте.

Александр II, Освободитель, лично соблаговолил телеграфировать: главаря Петрова военно-полевым судом и привести в исполнение немедленно.

За царя, за свободу, кричит, падая, Петров.

Милостивый государь, Николай Гаврилович, у нас в Твери крестьянский вопрос принимает оборот довольно неважный.

В губернском правлении ни о чем не говорят, как только об экзекуциях. Пока я съездил в Ярославль и вернулся, дважды вызывали войска. Крестьяне и слышать не хотят об отработывании барщины, а помещики, вместо того чтобы подчиниться духу времени, кричат караул. Я со своей стороны стараюсь объяснить, что штыки здесь мало помогут, но безуспешно. Я вручил протест губернатору, за что ожидаю, что в ближайшие дни с треском вылечу.

Та историческая дата, с которой.

Руки опускаются.

Лишь честные люди нужны.

Верный слуга Вашего Императорского Величества.

Связанные, сломанные, урезанные.

Без рук, головой об стену.

И, хоть годами мучимый бессилием литературы, лишь теперь, в Рязани и Твери, узнаю подлинное бессилие: словно бы и реальной деятельности, но ведь мнимой, невозможной, без труда разрушаемой действительностью, исправление которой ставила себе целью.

Бессилие литературы хотя бы след оставляет; хоть надежду, что когда-нибудь отзовется эхом, может быть уже не бессильным.

Бессилие действия, будто ходишь по трясине: сам в булькающей утонешь, или, если выберешься на сухое место, черная сомкнется там, куда ты ступал мгновение назад, ни следа уже, ни воспоминания.

Вечерами снова пишу.

Из соседней комнаты, сквозь приоткрытую дверь, слышно дыхание Лизы, спокойное и ровное.

Дыхание того, что я пишу, прерывисто, хрипло и неспокойно.

Заглавие я придумал уже давно: Книга умирающих.

Но живут умирающие, желтые зубы скалят и кусают.

Прошлые времена, которые я столь торжественно хоронил в очерках о Крутогорске, лукаво выглядывают из-под могильной плиты.

Милостивый государь, Николай Гаврилович, смерть

Добролюбова потрясла меня, хотя после нашей последней петербургской встречи я ожидал этого печального известия. Да, жить трудно, почти невозможно. Видно бывают такие эпохи. Мой рассказ взбудоражил все тверское общество и возбудил беспримерную в летописях Глупова ненависть к пишущему.

Тут перо должно остановить свой бег.

Внимание: впервые появляется это название, оброненное мимоходом, его даже легко проглядеть.

Глулов.

Город Глулов, как Крутогорск, существующий и не существующий, пожалуй менее существующий, чем Крутогорск, и вместе с тем — больше.

Итак, — Тверь, исчезни.

Конец бюрократической карьеры.

Смирнов, поедете со мной. Вы еще можете держать перо, как-нибудь обойдется.

Смирнов кашляет, за готовую лопнуть грудь хватается обеими руками. Бисеринки пота покрывают выпуклый лоб.

Нет, Михаил Евграфович, спасибо.

Он машет рукой.

На такой короткий срок уже не стоит.

Клавдия плачет.

Я стыжусь спросить, что с ней станет без него.

Поедет в Москву, говорит Смирнов, у нее там сестра и как-нибудь с ней.

Спасибо, Смирнов, за все, что бы я делал без вас в губернии.

Рука у него горячая, влажная и очень слабая.

Бог нашей молодости был грозным Богом: для заблуждающихся он не знал пощады; когда в молодости он сам сбился с пути, то сам же сжег себя на костре и возродился из пламени, очищенный и новый.

Он был некрасивым Богом: кашляющим, изможденным, в плохо скроенном сюртуке; а речь его не звучала торжественно и сладко.

Он был Богом язвительным и резким; он не прижимал последователей к священной груди (впрочем, хоть и грудь Бога, она была впавшей и тщедушной); не утешал, не исцелял, не успокаивал; скорей отталкивал и замораживал.

Можно еще сказать о нашем Боге, что у него не было изысканных манер; что он был беден; что как поденщик исполнял бесплодную и тяжелую работу для жадного эксплуататора талантов.

Но он был Богом: он понимал больше, видел проникновенней и дальше, чем каждый из людей; и видение, создаваемое им, пылало перед нами, словно огненный куст.

Он был Богом: чуждый всему мелочному, недоступный недостойным соображениям, он восхищал нас и поражал; мы шли за ним не с затуманенным разумом, как это бывает с верными, но озаренные, с широко раскрытыми глазами, с обостренным разумом и усиленным чувством того, что правильно.

Когда великий Гоголь, столь любимый нами, изменил человечеству и истине, Бог незадолго до смерти написал письмо писателю.

Не проповеди, писал он, нужны России (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, — права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек; страны, где наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей! Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение кре-

постного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть.

Так звучало наше Евангелие.

Даже Достоевский, которого Бог обидел и унизил, публично читал письмо к Гоголю с красными пятнами на желтом лице, за что и дождался вскоре эшафота на Плаце Семеновского Полка.

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете! (Так читал, голосом, который должен был звучать набатно, однако вдруг срывался и пел попетушиному.) Взгляните себе под ноги — ведь вы стоите над бездною! Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут? Ведь какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты!

Пусть вас не удивляет банкротство последней книги. И публика тут права: она видит в русских писателях единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия и поэтому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще в зародыше, свежего, здорового чутья и это же показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порауйтесь вместе со мной провалу вашей книги!

Так звучало Евангелие: Виссариона Белинского, Бога нашего, слово.

В весенний день того года, когда в Европе рушились троны, горсточка самых близких провожала Бога на кладбище.

Меня не было среди них: быстрые жандармские кони раньше достигли Вятки.

Не было также Валерьяна Майкова, гениального юноши, в котором незадолго до этого мы хотели видеть наследника

Бога; двадцатичетырехлетним он утонул в пруду и гений его остался неизвестным.

Владимир Милютин, вторая наша надежда, брат будущих государственных мужей, в стократ проникновенней и чище, чем они, жил еще, но уже сползал в глубь собственной, разъедаемой страстью души; женщина отняла его у друзей и дела, даже не дав взамен себя; несколько лет спустя он застрелился на немецком курорте.

Бог юности нашей не оставил наследника.

Петрашевский был вылеплен из другой глины; может тоже божественной, но другой.

## 27

Он пробежал петербургскими улицами в испанском плаще и цилиндре эксцентричной формы — не круглом, а граненом; на глазах собравшейся черни искал ссоры с полицией, задевал чиновников, чтобы высмеять их и унижить; он старался оказаться на пути самого Николая, лишь затем, чтобы и к нему, помазанной главе иерархий, проявить пренебрежение; на случай если его задержат он приготовил дерзкое объяснение, что он близорук; если император хочет, чтобы его узнавали, пусть носит при себе погремушку.

Дворников со своей улицы он хотел обратить в фурьеризм; собрались, усатые, в белых передниках, с уважением покашливали; он дал им по двугривенному и прочел лекцию; понимаем, а как же, ваше благородие; когда однако во второй раз получили лишь по гривеннику — не понимали.

Не обескураженный, основал фаланстер в имении под Петербургом.

Сумасбродный мой друг Петрашевский, инфантильный и опрометчивый; молокососом-лицеистом он был менее инфантильным, когда сам еще неуверенный во что верит и как должен превратить в действие свою неясную веру, в вожжах держал скрытые страсти; но позже на столичной

мостовой начали они взрываться бурно и чересчур шумно, не обращая внимания на обстоятельства, ослепленные собственным резким сиянием.

Он уже знал; знание рождало сумасбродство; но возможно больше всего раздувало его не чуждое и мне, и другим ощущение поднимающейся волны истории; все более высокая, она должна была вскоре отступить — это болезненное чувство также сопутствовало ее приближению; так что — успеть, ах, успеть хоть что-нибудь, большое, маленькое, безумное, но с ней, в ее брызгах и грохоте, потом погибнуть, но успеть, успеть.

Я тогда писал свои первые повести.

К Петрашевскому я ходил на собрания по пятницам; тут, в кругу единомышленников, на второй план отодвигалось сумасбродство и в полной мере выявлялась мудрость предводителя; книги, с которыми мы с жадностью желторотых лишь знакомились, им уже давно были усвоены; пожалуй, не было области знания, которую бы он не изучил; когда ж он говорил об истории или экономии, мир становился ясным, имел свои несомненные причины, цель и путь к цели; он не был миром нормальным, но мы знали его ошибки; когда мы их исправим — он станет нормальным; эта норма, ясное дело, также была нам открыта.

Французская революция прошлого столетия имела свою Энциклопедию; ее годами создавали самые выдающиеся умы; Петрашевский в течение всего лишь десятка месяцев составил русскую Энциклопедию (более краткую, надо признать): двухтомный Словарь Иностранных Слов; и всего лишь два человека — Майков и Шtrandман — помогали ему в этом деле; это была книга фанатичного отрицания существующего порядка и утверждения порядка, который должен наступить.

Достаточно было раскрыть ее на любой странице.

А н о м а л и я. Миллионы людей без устали, в поте лица своего, тратят силы на удовлетворение единственной потребности — потребности в пище, и при этом часто умирают от голода, в то время как другие гибнут от обжорства. Все

это заставляет смотреть на современное общество как на чудовищную аномалию, подавляющую развитие человека.

Аномалия не любила однако, чтобы ее называли по имени.

Судьба русской Энциклопедии отличалась от судьбы французской.

Когда Петрашевский со свойственной ему бравадой посвятил словарь Великому Князю, это обратило на книгу дремлющее око властей.

Ведомство сожгло весь нераспроданный тираж: тысячу шестьсот экземпляров из двух тысяч напечатанных.

Крестьяне сожгли фаланстер, который выстроил для них безумный барин.

Еще до этого во мне сгорела вера в его утопии.

Человеческий род суть большое коллективное существо, органами которого являются изящные искусства, наука и индустрия; история цивилизации представляет картину очередных физиологических состояний человеческого рода; она также доказывает способность человеческого рода к совершенствованию; ее нужно только понять и захотеть сделать выводы; создавая порядок, в котором каждый будет наделен по своим заслугам, вознаграждаем же по своим делам, человеческий род достигнет совершенства, наступит золотой век, который воображение поэтов поместило в темноте первобытных времен, но который на самом деле впереди.

Это Сен-Симон, а Фурье, призывающий перейти от общественного хаоса ко всеобщей гармонии, начертавший картину радостного и привлекательного труда, а Кабе, а Видаль, все эти благородные и мудрые — в самом деле, слишком многим обязаны им мой ум и сердце, чтобы тогда или теперь я мог насмеяться над ними.

Но я не был в состоянии не возвращаться после этих взлетов на землю.

У всех утопистов, особенно же у Фурье, меня раздражала подробная регламентация будущего, которой так упивался Петрашевский.

Это было наивно и бесполезно; нельзя предвидеть бу-

дущее в отрыве от постепенного усвоения человечеством тайн природы и происходящего отсюда развития наук.

Фурье предвидел ненужных антильвов и антиакул и не предвидел ни железных дорог, ни телеграфа, которые несравненно радикальнее влияют на ход человеческого развития, нежели антильвы.

Его смущал вопрос об удалении нечистот из помещения фаланстеров и для разрешения он прибегнул к когортам самоотверженных, тогда как в недалеком будущем дело устроилось проще при помощи ватерклозетов, дренажа, сточных труб.

Наконец, он верил в пригодность открытых им форм общежития для любой человеческой группы; ему казалось, что дело лишь в доброй воле; он не принимал во внимание внешних условий и вытекающего из них непостоянства жизненных потребностей.

Вместе с Майковым и Милютиным я покинул Петрашевского, разочаровавшись в утопии и враждебный к регламентации будущего.

Несколько лет спустя я нашел ее у Чернышевского, в снах Веры Павловны, героини тюремного романа.

Я не верил в этот сон; Некрасов тоже не верил; ни я не сказал ему об этом, ни он мне.

## 28

Петербург горит.

Над Рынком огненные столбы и черный дым.

Разносимые ветром пылающие головешки перелетают, брызгая искрами над темным каналом, и падают на крыши домов сгромоздившихся в улицах вокруг Рынка.

Весь город пропитался гарью.

По городу катится помраченная и словно захмелевшая от несчастья толпа.

Толпе неведома стихия, она ищет более осязаемого врага:

это поляки, злые и коварные поляки, те самые, что тридцать лет назад заразили город холерой.

Поляки и студенты поджигают великолепную столицу.

Тридцать лет назад еще не было студентов, хватало одних поляков; сознание толпы изменяется вместе с прогрессом просвещения.

Скоро новое престранное слово начинает переходить из уст в уста: нигилисты.

Нигилисты это тоже студенты, только еще хуже.

Это так пришлось по вкусу, что поляков забывают.

Нигилистов легко узнать по длинным волосам и шляпам с широкими полями; их можно хватать на улице и бить, до тех пор пока они не испустят дух; полиция не препятствует.

Выдумал нигилистов, еще до начала пожаров, Тургенев.

Он не хотел их убивать, только высмеять.

Большой барин, порвал с журналом Некрасова, потому что от новых сотрудников для него пахло дегтем; а потом, желая отомстить им при помощи прекрасного искусства слова (дворянину к лицу это изысканное оружие), опубликовал современную повесть об отцах и детях; Добролюбов выступал в ней как сухой, недоступный человеческим чувствам Базаров.

Вы не верите ни во что ... даже?

Даже, отвечает Базаров.

Добролюбов умер до выхода книги, но нигилисты существуют: поджигают Петербург, выпускают тайные прокламации, редактируют неблагонадежные журналы.

Я не хотел, объясняет смущенный автор.

Пожалуй, и в самом деле не хотел.

Пожары гаснут.

На улицах пусто.

Орда кочевников разбивает на Рынке палатки.

Катков, который превосходно изучил дух времени, пишет статьи о нигилистах и поднимает тираж.

Журнал Некрасова закрыли на восемь месяцев.

Верно не откроют больше: откуда он возьмет сотрудников?

Ночью стук полиции в дверь.

Забрали Обручева, забрали поэта Михайлова, забрали Писарева и Шелгунова.

Седьмого июля 1862 года берут Чернышевского.

На Мытной площади — помост деревянный и столб с железной цепью.

Над головой государственного преступника палач ломает шпагу.

Зачитывают приговор: семь лет сибирской каторги.

Собравшаяся толпа понимает приговор: навсегда.

Это не та, которая в клочья рвала нигилистов; это именно нигилисты, те недобитые, недорастоптанные; черное платье без кринолина бросает Чернышевскому цветы; обнажаются головы; прощайте, прощайте.

Читатель, который возьмет в руки этот первый, после длительного перерыва, номер нашего журнала, вероятно спросит, очистились ли мы постом и покаянием.

Что был пост — трудно отрицать; и хоть мы не являемся противниками самой идеи поста, мы предпочли бы, ясное дело, чтобы его сроки определяла менее щедрая длань, что, впрочем соответствовало бы существующим уставам.

Что же касается покаяния, постараемся ответить в ближайшее время; во всяком случае обещаем лояльность, потому что все склоняет нас к ней: и желание общаться с читателями двенадцать, а не четыре раза в год, и нынешнее настроение общества, и, наконец, другие обстоятельства.

В начале однако я должен определить, что такое лояльность. Так вот, достаточно, чтобы тот, кто решил встать в ряды лиц лояльных, сказал себе: можешь, мой дорогой, если хочешь, заимствовать платки из чужих карманов, можешь читать романы Поль де Кока, но за то ты обязан иметь хороший образ мыслей. Чем в свою очередь является сей хороший образ мыслей, этого я уже не сумею объяснить, ибо я это скорей чувствую, чем понимаю.

Это моя статья.

Не слишком ли ясные намеки?

Сойдет, машет рукой Некрасов.

После выхода номера он приглашает сотрудников на обед.

Представляет меня хозяйке: высокой, статной, со смуглым цветом лица и блестящими черными волосами, собранными в кок. Такой я представляю себе Жорж Санд, хотя никогда ее не видел.

Это господин Щедрин, а это — Авдотья Яковлевна Панаева. Надеюсь, что вы подружитесь.

Вы так же прекрасны, как некогда, когда я поглядывал на вас из другой комнаты.

Как так, вы меня знаете?

Мрачный лицеист.

Вы? Боже!

Она раздражается смехом, но меня он не задевает.

Я веду ее к столу.

Елисеев поднимает тост за здоровье Чернышевского.

Запах гари еще носится в воздухе.

## 29

Что же касается града Глупова, то не является тайной отчего он сгорел.

От распущенности градоначальника (в описи глуповских правителей означенного одиннадцатым номером), Фердыщенко, толстяка и в общем доброго малого.

Целых шесть лет кряду Глупов тек молоком и медом, а бригадир Фердыщенко ни во что не вмешивался, с подчиненными на крыльце в карты дулся, а к своим овечкам обращался — „братик-сударик”.

А ну, братик-сударик, ложить, приказывал он нежно, случись кому-нибудь из граждан провиниться.

Конец благополучия наступил, когда Фердыщенко без памяти влюбился в краснощекую Алену, домой ее от мужа привел, последнего же заклеив каленым железом в числе прочих сущих воров и разбойников в Сибирь отправил.

За эту распущенность милостивая до сих пор природа отвернулась от глуповцев.

Земля перестала родить, с самого вешнего Николы вплоть до Ильина дня не выпало ни капли дождя.

Послал бригадир „излюбленных” на агитацию, для ободрения опечаленного народа.

Мы люди привычные, утешали народ „излюбленные”, раз начальство с нами — что Бог даст, без ропота снесем. Ты думаешь как? ты думаешь-то начальство спит! Нет, брат, если бы оно даже одним глазком задремало, а вторым поди, уж где видит!

Однако оголодавший народ роптал.

Это из-за его развратной Иезавели, роптал народ, неудачи наши.

Отдать ее псам на растерзание, и уродит земля как раньше.

Тогда начал Фердыщенко рапорты строчить, так мол и так, пришлите, милосердные, хлеба, а уж коли нет хлеба, то пускай команда прибудет.

Писал, ждал, а тут народ все более роптал, все громче требовал выдачи Аленки, до тех пор пока не выдержал бригадир и на муки не выдал сладкую свою утеху: белое тело с верхнего яруса колокольни, раскачав сбросили, ни единого лоскута не осталось от милой, в одно мгновенье ока разнесли ее приبلудные голодные псы.

И вот в то самое время, когда свершилась судьба Алены, на ведущей к городу дороге вдруг поднялось густое облако пыли.

Хлеб идет! — радостно вскрикнули глуповцы.

Ту-ту! ту-ту! — затрубила туча.

В штыки, трубят рога! разить врага, пришла пора!

И успокоились глуповцы, и снова потекла жизнь старой колеей, только что градоначальник чересчур вошел во вкус разврату и очень мало времени минуло, как приголубил новую возлюбленную: Домашку-стрельчиху, грязную и непристойную.

На этот раз природа не проявляла признаков гнева, перепали дожди и притом в пору светило солнышко. Граждане радовались, надеялись на обильный урожай.

Фердыщенко же безмятежно предавался мерзкому разврату.

Как вдруг шестого июля (летописец отметил эту дату) встал юродивый Архипушка среди торга и начал раздувать по ветру своей пестрядиной рубахой: горю, горю, кричал блаженный, увидите меч огненный, услышите глас архангельский, горю!

Пожар вспыхнул назавтра, когда все до единого отправились в поле, так как работа была спешная (зачиналось жнитво).

Небо заволочло сплошь и раздался оглушительный раскат грома, затем набат послышался и все покрылось черным дымом.

Среди пламени метался одержимый Архипка, рвал на себе рубаху, царапал ногтями грудь, но из пасти огня, пожиравшего его, выхода не искал.

Уже колокольня стояла в огне, самый большой колокол загудел в последний раз и грохнул вниз.

Всю ночь над городом дрожало зарево, на рассвете словно успокоилась стихия, но в полдень занялось с другого конца, так дом за домом в пепел обращался, глуповцы же, в злоеущее всматриваясь сияние, начали роптать.

Долго ли нам гореть будет? — роптали они.

Не с Богом же спорить, огрызнулся градоначальник.

Не о Боге речь, о твоих лишь бесчинствах, ты, гунявый.

Тогда бригадир вдруг засовестился и плача Домашку толпе выдал, однако ее не сбросили с колокольни, ибо колокольня сгорела, а еще и по той причине, что эта девка была им любя.

Фердыщенко же начал рапортовать во все места.

И вскоре на тихом глуповском тракте показалось облако пыли.

Пожарные едут! — с облегчением закричали жители.

Ту-ту! ту-ту! — затрубила туча.

В колонну, соберись бегом! зададим штыком! Скорей! скорей! скорей!

Глуповцы пали ничком.

Таким образом, что касается города Глупова, то уже ясно отчего он сгорел.

Правда, Глупов сказочного происхождения и это отчасти облегчает дело, хотя и со сказкой никогда ничего неизвестно.

Не знаю также, уважаемый читатель, по вкусу ли тебе небылицы.

Если нет — и в Петербурге, и в провинции достаточно других развлечений, столь же почтенных.

Как-нибудь, пожалуй, договоримся.

Так или иначе, прошу не спутать адреса.

Я живу в Петербурге, в доме Красовской, первый этаж с парадного.

Говоря по правде, я предпочитаю сказки.

## 30

В этом-то городе.

Два изменивших своему сословию барина и преподобная консистория.

Еще мгновенье улыбка женщины, музы демократической поэзии, а позже.

В этом-то городе мерзком (даже странно, что это не я подложил огонь под его мишуру и беззаконие — а может все же?) мы издаем журнал, шуршанием которого старался Пушкин четверть века назад обмануть топот медный (но вскоре растоптал его всадник); который позже громогласной Горой Синаем сделал Бог наш, Белинский (за деньги веселого кутилы Панаева); в котором взбунтовавшиеся барчуки, самые большие писатели России, печатали свои первые ереси (пока не ушли, возмущенные новой ересью не ценящих красоту семинаристов); в котором эти семинаристы педантично и трудолюбиво (в педантичности и трудолюбии подчас тоже таится гений) выворачивали наизнанку оболганную действительность и такое же искусство (как вдруг их не стало, — умерших от истощения, брошенных в казематы и тайгу); издаем журнал в этом мерзком городе, вопреки ему и против него вновь издаем журнал.

Баре — это Некрасов и я; поэтому взирает на нас Петербург подозрительным взором — когда же из этих демографов, перекрашенных лисиц, выглянут их благородия; ибо что выглянуть должны, это ясно; а этот Некрасов, шепчет Петербург, зад кареты утыкал острыми шипами, а Салтыков лакея по морде бьет, а в карты так они иногда до рассвета играют, впрочем о картах — это правда.

Консистория: Антонович, Елисеев и Пыпин; трудолюбие завидное, но на сей раз в нем не скрывается гений; неважно также обстоит дело с чувством юмора; мои издевки кажутся консистории не к месту в той жалкой и неестественной ситуации, в которой мы действуем; так что пишу немного и наперекор консистории.

Еще какое-то мгновенье с нами Авдотья Яковлевна, *la belle Eudoxie*, но вдруг уходит с мелким хватом Головачевым, а Некрасов изучает французский, чтобы болтать с быстроглазой Сюзанной.

*La belle Eudoxie*: Достоевский влюбился в нее с первого взгляда, Чернышевский целовал ей руки (пожалуй, ни одна женщина не удостоилась этой чести), умирающий Добролюбов клал голову на ее колени, Некрасов — любовник, терзаемый чрезмерным счастьем, убегал и снова возвращался, один лишь Панаев предпочитал прелести сотни других женщин.

Загнанный ловелас, он чувствовал себя лучше всего, когда что-то терял; с гризетками промотал остатки состояния, журнал отдал Некрасову, а когда тот к тому же отобрал у него квартиру и жену, облегченно вздохнул: это была свобода — и поправив парик, начал высматривать очередное приключение; чтобы наконец отдохнуть от приключений, он однажды прилег на диван и умер; Некрасов с Авдотьей, как раз расходившиеся, не обратили на это внимание.

Итак, журнал не имеет уже своей музыки; он становится еще более сухим и скучным, чем был до этого; и все же у него есть читатели.

Печатаем присланную из крепости утопию Чернышевского.

Консистория добросовестно распространяет прогрессивные идеи.

Некрасов в минуты, свободные от карт и мелочной грызни с цензурой, пишет стихи, гневные и волнующие.

Я правлю повести второстепенных писателей из народа и вступаю во все более ожесточенную полемику с каждым, кто встает нам на пути, защищаю нигилистов, мальчишек, как их называет Катков, от свиста и камней журналистской братии.

Все вместе не слишком приятно.

Нас читают, стало быть, мы нужны.

Но, читая нас, компрометируют себя: чтение нашего журнала это такой же признак нигилизма, как темные очки и непосещение церкви; так что нужны ли мы?

Тем временем восстают поляки; не помогли Константина притоптывания в мазурке, ни Великой княгини бело-красный туалет; на варшавский блеск первый либерал променял свое петербургское положение; теперь: Саша, я это улажу — стоит на коленях перед царем, монокль из глаза и слезы; но царь не соглашается; поляки раздавлены.

Муравьев, жирный боров с вздернутым носом и короткой седой щетиной — любимец народа.

Он непререкаемый авторитет; Каткова хвалит: истинно русский человек; Валуева, в меру либерального министра, уничтожает: космополит.

Молодец Муравьев, восторгаются славянофилы, расстреливает и вешает, дай ему Бог здоровья!

Герцен встает на сторону поляков и лондонский колокол захлебывается внезапной тишиной.

Мы не защищаем поляков, но и не обсуждаем их неслыханных подлостей; польский вопрос, уведомляю читателей, не входит в сферу моих фельетонов; зато я рецензирую „Вильгельма Телля” и мимоходом высмеиваю наемных публицистов, разумеется — австрийских; цензура не вмешивается, Катков лишь насупил бровь и указывает на нас патриотическим перстом.

С другой стороны гремит радикал над радикалами, наполовину помешанный Писарев.

То, что я пишу, он называет цветами невинного юмора.

Когда мы смеемся вместе с господином Щедриным, мы уже не в состоянии возмущаться.

Смех господина Щедрина развращает молодежь.

Если господин Щедрин хочет приносить пользу, пусть оставит беллетристику и займется популяризацией естествознания.

Я что-то там отвечаю Писареву.

Что-то там отвечаю братьям Достоевским, которые в своем журнале бредят об основах, о возвращении к истокам, засыпанным Петром Первым.

Что-то там отвечаю и Каткову.

Ад журналистики.

При дворе ненадолго берет верх „польская партия”, либеральные князья, так что Муравьев, пожалованный блестящей безделушкой графского титула, удаляется в деревню, чтобы прокряхтеть секретарю мемуары.

Польская пропаганда, жалуется он, в самом невыгодном свете поступки мои, но более мучительно, что некоторые лица в самом Петербурге, а частично даже.

Бедный вешатель!

Но четвертого апреля 1866 года в Летнем саду бледный юноша Каракозов неуклюже целит в Александра.

Не успевает даже выстрелить, схваченный и обезоруженный толпой.

По... поляк? — давится царь, рыбьим взглядом поглядывая на покушавшегося.

За вас, обращается юноша к враждебной толпе, я русский; толпа молчит.

В ночь с восьмого на девятое начинается расправа: берут студентов и мещан, князей и учителей, среди литераторов забирают Курочкина, Слепцова, Минаева, Лаврова, Зайцева; не хватает жандармов, к участию в обысках привлечена гвардия; Муравьев лично допрашивает стриженных барышень и угрожает им выдачей желтых билетов; а оцепеневшая от страха пресса состязается в выражении верноподданнических чувств.

Бдительный перст Каткова указывает моральных виновников святотатственного покушения.

28 мая за многолетнее вредное направление наш журнал (одновременно с журналом Писарева) закрывают.

Не помогает даже последний отчаянный жест редактора: ода в честь Муравьева, прочитанная на обеде в Английском клубе.

Мятеж прошел — тщетны усилья враждебных мощной Руси сил. Зри: над тобой простерши крылья, парит архангел Михаил.

Вешателя не развлекают оды.

Он поворачивается к поэту спиной.

Друзья тоже отворачиваются.

Боялись не меньше чем он, невнятно поощряли к этой попытке двуличности, позорной и бесполезной, но совершил ее он, не они.

Теперь он один стоит у позорного столба.

Английский клуб явился Семеновским плацем поэта.

А я?

А меня там нет.

Я ранее покинул Петербург, терпеливо выживаемый консисторией заодно с цензурой, снова потеряв вкус, как уже столько раз прежде, к этой горькой ниве.

Но не сумею не вернуться снова.

## 31

Что за радость: Руси Тысячелетие славное.

Тысяча лет, говорят, как Варягам к ногам припала: земля наша велика и обильна, но порядку в ней нет; придите и княжите.

Пришли Рюрик, Трувор, Синеус и начали историю.

Ученые историки теперь до хрипоты спорят, какой крови князья-братья варяжские.

Норманнского происхождения, утверждает Погодин;

ничего подобного, балты, упирается Костомаров.

А я знаю.

Первый-то брат — капитан-исправник, второй-то брат — стряпчий, а третий братец — тсс, между нами, сам мусье окружной.

И где было жито — там ныне порядок; где скотинка тучная — там порядок; где даже рощицы росли — и там завелся порядок.

О, Глупов! милый Глупов!

Отчего сердца так тянутся к тебе, отчего уста сами поют тебе хвалу?

Auch ich war in Arcadien geboren.

Следовательно, Крутогорск, все еще Крутогорск; это реализм, *n'est ce pas*, самый очевидный реализм; может господа желают пощупать; хватит, эта книга закрыта, *finis*.

Теперь Глупов?

Ах, это совсем не просто, блуждаю по Глупову, а тут компания знакомая; Крутогорском проросший Глупов; не хочу; о, как мучительно писать; иначе ведь не умею; Крутогорск ядром у ноги; убежать, убежать; реализм нереален; в Глупов, может Брюхов, нет, несмотря на все Глупов; даже в пошлости должно быть что-то человеческое, а в Брюхове — ничего, кроме навоза; у Брюхова нет истории; какую же однако историю имеет Глупов, испуг, непрерывный, бесконечный испуг — вот история града Глупова; сейчас, неужели; нет, не в состоянии, не умею, оставьте меня в покое, никогда ничего не напишу.

Белый конь.

Что такое?

На белом коне.

Не может этого быть.

Въехал в Глупов градоначальник на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.

Глуповских градоначальников биографии прилежно записанные очередными архивариусами и мной из древних летописей извлеченные и ради утехи читателей, а также и нравов учения, верно повторенные.

Что касается до внутреннего содержания, то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Издатель не счел однакож себя в праве утаить эти подробности; напротив того, он думает, что возможность подобных фактов в прошедшем еще с большей ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него.

Форма.

Я нашел форму.

Возбужденный я кружу по кабинету.

Лиза!

Что, Мишель?

Ничего, ничего, не мешай.

Мне показалось, что.

Не мешай — говорю.

Входит письмоводитель в кабинет, а тут градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежала, в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова.

Где вы видели эту пирамиду, спрашивает Кукольник, старательно утапывая мой исстрадавшийся череп.

Где вы видели, чтобы голову отвинчивали, а в голове.

Испорченный органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: „не потерплю!“ и „раззорю!“ и вдруг: „тсс“, „пс“; в столицу телеграфируют за новой, с пакетом фельдъегерь и внезапно.

Или с фаршированной головой.

Топчется гурман вокруг фаршированного: ваше превосходительство, хоть бы лизнуть!

Где вы видели, чтобы.

Где? В Глупове, дорогие, в Глупове.

Не Брюхов, не Крутогорск, не Тверь, не Вятка, не Рязань: град Глупов, как Рим, на семи холмах лежащий; только в Риме сияло нечестие, а у нас — благочестие. Рим заражало буйство, а у нас — кротость. В Риме чернь, а у нас начальники.

Двадцать один, шесть девок-самозванок не считая, которых за шесть дней анархии.

Однако лишь Угрюм-Бурчеев.

Погодите, еще не он; глуповцы челом князю бьют: приди и володей нами; князь прибывает и: запорю! — с этим словом начались исторические времена в Глупове.

Неужели нашел; неужели; да нет же; ну да; сам не знаю.

## 32

Детство продолжается долго.

Каждый день полон содержания, времена года имеют необыкновенное значение, времена суток отличаются цветом и вкусом, нет повседневности, всегда происходит что-то новое, проходили странники, оценилась сучка, я увидел у дороги вербу странной формы, узнал букву аз, буки, веди, поймали беглого солдата, я подрался с братом, на третья была малина, губы маменьки, когда она обняла меня, тоже пахли малиной, отец показал мне наше генеалогическое древо, мы приходим от боярина Прушанича, я знаю уже весь алфавит и считать до одиннадцати, а есть еще храмовые праздники с хорами и пряниками, каждое мгновенье наполнено и осязаемо, каждый предмет западает в память, мне интересен каждый человек, не всех люблю, гувернантка Мария Андреевна когтями впивается мне в уши, но никого не забуду, ни себя не забуду, меня много, с Нового года я вырос на четыре вершка, хотел бы уже быть взрослым, но детство продолжается долго.

Также и молодость, с надеждами, друзьями, книгами, первые бунты, первые стихи, первая бессонная ночь, болит голова, я омерзительный развратник, Платон, льда, возлюбленный сын наш, граф Бобринский, это для тебя слишком дорогостоящий приятель, льда, ради Бога, Платон, Юрьев же, возлюбленный сын, решительно оказывает на тебя дурное влияние, Алина, *je vous aime, mais, Michel, je suis mariée*, пишу повесть, дзинь-дзинь-дзинь под дугой, молодость длится короче, чем детство, но все же долго.

А позже — мелькание лет, болезней, знакомств, честолюбий, начатых и неоконченных работ, работ оконченных и забытых, забот, квартир, путешествий, холода, пустоты, так быстро, почему так быстро?

Служу, пишу, снова служу, из провинции в Петербург убегаю, из Петербурга снова в провинцию, снова вокруг негодяи, так что сражаюсь с негодяями, разумеется проигрываю, это более чем ужасно — это скучно, снова из провинции в Петербург.

Некрасов взял в аренду у Краевского журнал, приглашает меня в редакцию, из консистории остался один Елисеев, оскорбленный Антонович пишет памфлеты, огрызаюсь за Некрасова и себя, пишу историю Глупова, потом путевые письма, Некрасов умирает, я встаю во главе редакции, нам закрывают журнал, еще живу, но жизнь проходит, детство продолжается долго, а жизнь проходит так быстро.

На похороны отца меня не пустили из Вятки, на похоронах маменьки я замерз, потом пил водку с братом Дмитрием, но не мог согреться, мне казалось, что от него этот холод, меня бил озноб, я пил водку и меня бил озноб, бери имение Иуда и оставь меня в покое, с тех пор я никогда не мог согреться.

Лиза на тринадцать лет моложе, не любит меня, мы чужие, может это оттого, что у нас нет детей, так долго бездетные, но однажды: доложи обо мне господам, Иван, поторопись, ну же!

Господ нет дома.

Тогда ты, Иван, поздравь меня, у меня сын, слышишь, у меня родился сын, Константин!

Дети меня не любят.

Пустота, холод, мне сорок лет, почти ничего не написал, Крутогорск с трудом преобразается в Глупов, мне шестьдесят лет, я написал уже все, наш знаменитый, господин Салтыков-Щедрин, ну и что из этого, как что, ведь я хотел, ведь я об этом мечтал, а, в самом деле.

Если бы придумали такую машину, вроде волшебного фонаря.

Ведь существуют дагерротипы, следовательно, если бы зафиксировать на них все моменты жизни, затем же в этой машине, в этом волшебном фонаре пустить в движение картинки, чтобы вся жизнь по порядку прошла перед глазами.

Сначала было бы длинное детство и каждая картинка иная, множество различных картинок.

Затем длинная молодость.

А потом уже одна картина, без изменений: человек над рукописью, с отсутствующим и гневным лицом, постоянно над рукописью, проходят годы, проходит жизнь, постоянно одна картина, без изменений.

Ведь я сам хотел.

Ведь мне не жаль этих однообразных лет.

Но почему так быстро?

Мгновенье, остановись!

Нет, это уже конец.

### 33

Так что и Угрюм-Бурчеев лелеет тайную мечту, свою программу или Утопию.

Эстетический то сон, подчиненный законам геометрии, мечта о прямой линии.

Все маршируют и маршируют.

Никто налево, никто направо — все прямо вперед.

Ровным шагом, в одинаковых мундирах.

Ростом тоже все одинаковы.

В геометрическом городе живут, в серых домах, в каждом доме по четыре пары.

Двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетних.

И командир, и шпион.

Трутуту! — на рассвете взывает побудка.

Малолетние сосут на скорую руку материнскую грудь; престарелые произносят краткое поучение, шпионы спешат с рапортами.

И по прямой линии — марш на работу.

По команде: раз! обыватели разом нагибаются.

По комнате разгибают спину.

Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угрюм-Бурчеев и затягивает для поднятия духа: раз-первой! раз-другой! а за ним все работающие: Ухнем! Дубинушка, ухнем!

Великолепный мир прямой линии.

В нем ни страстей ни чувств.

Только обязанности и геометрия.

Геометрия является обязанностью.

Весь мир представляется великим маршем — куда? в лучезарную даль, которая покамест еще задержана, но со временем, когда туманы рассеются.

Увы!

В том виде, в каком Глупов предстал глазам Угрюм-Бурчеева, город этот далеко не отвечал его идеалам.

Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Улицы разбегались вкривь и вкось; лачуги, то высокие, то низкие, то красные, то желтые, в одной горбатый живет, в другой шесть безобразных ублюдков.

Понял градоначальник, что град предстояло не улучшать, но создавать вновь.

Но что же может значить слово „создавать“?

Создавать — значит представить себе, что находишься в дремучем лесу; это значит взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти куда глаза глядят.

Так Угрюм-Бурчеев и поступил.

На рассвете рухнули первые стены.

С вдохновенным градоначальником во главе глуповцы уничтожали свою колыбель.

Пыль густым облаком нависла над городом и затемнила солнечный свет. Бурчеев в прах стирал не знающий симметрии город.

Его мысли уже были далеко: он сортировал жителей по росту и весу, неподбранные четы разводил, новые согласно

с идеей соединял, детей поровну делил между семьями, назначал командиров и шпионов.

Лежащий в развалинах Глупов он перекрестил в Несгибаемый — и магическое это имя из небытия немедленно улицы подняло — прямые, как стрелы, радиусами разбегающиеся от квадратной площади, посреди которой Угрюм-Бурчеев, создатель порядка, ось великолепной симметрии, стоял и служил примером.

Счастье было так близко.

Всего лишь на шаг по прямой линии облеклась в плоть Утопия.

Но тогда.

## 34

Ничего не понимают.

Плоха та птица, что в собственное гнездо.

Народ.

Какой, к черту, народ?

Абстрактный — или исторический, который породил и выносит градоначальника с фаршированной головой, породил и выносит, вздыхая, Угрюм-Бурчеева, а в порыве злобы, случайные жертвы с колокольни сбрасывает.

Смех для смеха.

Ха-ха-ха, Салтыков-весельчак.

Нет, у Салтыкова нет чувства юмора.

Юмор предполагает великодушие, доброту и сострадание.

Неужели?

Придите ко мне и я успокою вас.

Ложь.

Искусство оценивает жизненные явления единственно по их внутренней стоимости, без всякого участия великодушия или сострадания.

Но, Мишель, не сердись, но я ведь тоже не понимаю.

Разве это возможно, чтобы градоначальник летал по воздуху и зацепился за шпиль?

Помнишь, когда я была барышней, ты сочинил для меня историю России и там.

Дура.

Ты всегда говоришь, что я дура, но рецензент.

Мерзавец.

Уважаемый господин редактор, хотя и не в обычае, чтоб беллетристы вступали в объяснения со своими критиками, но.

Во-первых, г. рецензент приписывает мне такие намерения, в связи с, он обличает меня в недостаточном знакомстве, ошибках в хронологии, а также что я много пропустил: где Пугачев, где сенат, в котором не нашлось географической карты России, где много других происшествий, перечисление которых приносит честь рецензенту, но в то же время не представляет и особенной трудности при содействии изданий гг. Бартенева и Семевского.

Однако я должен вывести почтенного рецензента из заблуждения, будто бы, издавая историю града Глупова, я имел в виду „историческую сатиру”, я также должен уверить его, что даже и на будущее время сенат, не имеющий исправной карты России, тогда, как, например, такой факт, как распоряжение о писании слова „государство” вместо слова „отечество”.

Сверх того историческая форма рассказа представляла мне некоторые удобства, равно как и форма рассказа от лица архивариуса.

Но в сущности, я никогда не стеснялся формой и пользовался ею лишь настолько, насколько находил это нужным.

И мне кажется, что ввиду тех целей, которые я преследовал, такое свободное отношение к форме вполне позволительно.

Далее рецензенту кажутся вздором такие образы, как градоначальник с органчиком в голове и тому подобные.

Но зачем же понимать так буквально?

Ведь не в том дело, что у Брудастого в голове оказался органчик, наигрывающий романсы: „не потерплю!” и „раззорю!”, а в том, что есть люди, которых все существование исчерпывается этими двумя романсами.

Надеюсь, что в объяснениях я не зашел слишком далеко.

Затем, приступая к обличению меня в глумлении над народом непосредственно, мой рецензент высказывает несколько теплых слов, свидетельствующих о его личном сочувствии народу.

Оно меня безмерно радует; но думаю, что я собственно не подал никакого повода для столь благородной демонстрации.

Остаюсь, господин редактор, с выражениями, ваш  
Салтыков.

Не напечатали, мерзавцы.

Мерзавцы и дураки.

Дураки и лицемеры.

А доктор Ионов?

Доктор Ионов не мерзавец.

Я его не считал и дураком.

Когда в Вятке мне было особенно плохо, именно доктор Ионов.

Во всей Вятке единственный дом, в котором я.

Доктор Ионов, прямолинейный и честный, но почему.

Не понял.

С натянутым и ледяным письмом вернул книгу, что не желает, с письмом любезным, но оскорбительным, что не желает впредь никаких, ведь я всегда посылал ему, никаких отношений со мной, подарков, переписки, не желает.

Не понял.

Никто не понял.

А ведь стоит только выглянуть в окно: градоначальник безумный летает над городом, градоначальник с головой нафаршированной трюфелями, с органчиком в голове, без головы, все летает по прямой линии.

Болит сердце.

Может я сошел с ума, не они?

Нечаев. Кто это такой — Нечаев?

Этого никто не знает.

Но все дрожат.

Дрожанием руководит полиция.

Раз — открыть рот, два — лязгать, ночь опускается при счете три, входит полиция, лязгать, лязгать, этот уже не должен, потому что его забрали, но остальные — открыть, лязгать.

Нечаев?

Исчез как привидение, может его вообще не было, но ведь что-то было; что такое, скажите; лучше не говорить.

Реален — лишь труп, найденный в пруду.

Встать, суд идет.

Первый в истории России гласный суд, с речами адвокатов, с представителями прессы, даже с публикой в зале; с делом Нечаева стали мы таким образом государством законным, европейским, поздравляю; над головами судей — Александр, просвещенный монарх; встаем почитая справедливый суд; но почему эта дрожь?

Раз — открыть рот, два — лязгать; слово имеет господин прокурор; восемьдесят семь подсудимых, но Нечаева недостает на скамье.

Не думаю, Николай Алексеевич, чтобы мы могли позволить себе дать собственный отчет о процессе, если бы однако в обзоре печати.

Попробуйте, но очень осторожно.

Ведь не напишу же я, что это банда мерзавцев, готовых продать душу за полгроша.

Так что пишу обзор печати, а Достоевский над синими морями, те же газеты с небольшим опозданием читая — фантастический роман о бесах.

Достоевский — художник; ах, нет — Достоевский, стоящий со слезами на глазах на эшафоте, с барабанным рокотом в ушах, идет снег, с сердцем дрожащим от ненависти; Достоевский, кого вы ненавидите? — потом, потом, надо писать обзор печати.

Русская журналистика наконец доказала свою лояльность очевидным и несомненным образом.

Перед лицом столь единогласного осуждения, к тому же выраженного с абсолютной свободой, нашей печатью, стоящих перед судом заговорщиков, стоит ли еще.

Что же касается нашего личного отношения к рассматриваемому вопросу, то в качестве ежемесячника мы вынуждены были бы, что кажется бесполезным, ибо в публицистике этого жанра оригинальность, которой мы завидуем, например, Московским Ведомостям, однако не можем.

Вот почему ограничиваясь констатацией похвального единогласия нашей печати, для удобства читателей, в возможно более обширных цитатах.

На этих днях в Санкт-Петербургской Судебной Палате начался процесс второй группы обвиняемых по делу Нечаева. Из обвинительного заключения мы видим, что наиболее благоприятной средой для Нечаева была Петровская Земледельческая Академия. В университете деятельность Нечаева задела всего лишь нескольких студентов-медиков, в большинстве своем кавказского происхождения, исключенных из учебного заведения осенью 1869 года за бойкот профессора Полунина.

Я переписываю длинные отрывки газетных отчетов, лишь изредка позволяя себе прокомментировать их одной фразой.

В том месте, например, где одна из газет возмущается клеветниками, утверждающими, что даже оправданные судом граждане будут до конца жизни ощущать последствия не подтвержденных обвинений, я дописываю: раз Санкт-Петербургские Ведомости уверяют нас, что это не так, трудно стало быть дольше питать сомнения.

Мы надеемся, подытоживая я, наконец, что читатель, просмотрев эти высказывания, согласится с нашим мнением, что они полностью и к тому же абсолютно свободно освещают не только сам факт, который явился предметом процесса, но также и более отдаленные причины, породившие этот факт.

В обзор печати цензура не вмешивается.

Но Нечаев — кто такой: Нечаев?

Идет снег, бьют барабаны, Достоевский сходит с эшафота. Достоевский — каторжник; письмо к Гоголю читал срывающимся голосом: самые живые, современные национальные вопросы России теперь; обиженный Белинским, публично высмеянный Тургеневым, прекрасной Авдотьей не замеченный, бесталанный, фанфарон; и никто более о нем не слышал — сообщает балагур Панаев; так вот нет, Достоевский — герой, революцию хотел совершить в России, читал письмо к Гоголю и за это в мертвом доме звенит кандалами.

Идет снег, сгиньте, чтоб вы пропали, вы все, златоусты, святотатцы, гордыни дьявольской исполненные, революция есть зло, мудрость ваша — суета, отвернувшиеся от Бога, от основ России оторванные, одержимые зловещим соблазном, исправители мира, грешники, проклинаю и отрекаюсь от вас.

А бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло.

Достоевский, пятый Евангелист, в журнале Каткова лукавых бесов изгоняющий.

Над синими морями, из газет — заговор презренный и студент убитый в парке, но свиньи, в которых вступили бесы — это вы, умники, спесивцы, друзья молодости, вспоминаемой с отвращением и страхом.

Тургенев несколько лет назад тоже было нигилистов осудил.

Ложь! он ими восхищался; он ставил им в вину лишь насмешку над сентиментальными родителями, но в чистоте того огня, что сжигал молодые души, он не осмелился усомниться; от имени отцов отрекся от неблагодарных детей; вернее желал отречься, но в действительности — отдал им честь, перед их мужеством склонился, старый шут Тургенев позволил зашантажировать себя молокососам.

И лишь один Достоевский видит: да это же черви.

Больше видит: из вас эти черви, господа; вы не их противоположность, хоть бредите справедливостью и красотой; это вы, возвышенные профессора и литераторы, Белинские,

Грановские, Тургеневы, бессильные в деле созидания, самонадеянные, безбожные, вы породили и взлелеяли преступников.

До того как в них вступили бесы, в вас смердящие имели обитель.

Теперь мчится стадо к своей гибели; с визгом безумным в волны озера падает, смыкаются над ним волны.

И нашли человека одного, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме.

А это Россия — матушка наша, веками несчастьями преследуемая, но Милостью Господней озаренная и, наконец, избавленная от бесов, миазмов, всяческих нечистот, исцеленная, наконец, и у ног Господних, среди изумленных пастырей, над взволнованными волнами сидящая.

Бедный Достоевский.

Идет снег, бьют барабаны, Достоевский сходит с эшафота. Значит он так долго носил в себе ненависть?

Значит так долго помнил унижение молодости, отвержение Белинским, смех Тургенева, презрительную гримасу товарища по эшафоту — Спешнева?

Достоевский мстит; не фанфарон, третьестепенный член литературного кружка, третьестепенный участник общества заговорщиков, колодник, избегаемый за плохой характер колодниками; Достоевский — необыкновенный писатель, с затаенным дыханием читаемый публикой — мстит за все.

Достоевский, а то: публика видит в русских писателях — письмо к Гоголю с красными пятнами на желтом лице — бедный Достоевский, стало быть то?

Apage satanas!

Достоевский, как это мелко.

Нет, и это не вся правда.

Утром пишу, днем — редакция, вечерами над романом Достоевского, позже к Унковскому играть в карты.

Унковский нескольких студентов защищает по делу Нечаева; о своих клиентах отзывается с уважением и сочувствием.

Достоевский — прокурор самый суровый.

Но суровость эта подозрительна.

Словно собственные искушения отгоняет, словно боится, что едва бесов изгонять перестанет, в него они вступят, а он, с юношами этими соединенный, в революции погрузится течение, увлекающее и кровавое.

Он не любит Христа, от имени которого выступает.

Он тайно тоскует о резне, о революционной резне; и тоски этой пугается, и заглушает ее в себе, и вырвать ее желает; не память о Белинском он так ненавидит, но то, что в нем есть от Белинского; не настоящего Нечаева, что убежал за границу, но Нечаева в себе, способного на то же самое, что и тот; за свою преступную любовь, скрытую, героев книги бичует; а Ставрогин, безумный и страшный — это не Бакунин, как полагают все, не Великий Князь Константин, как догадываются некоторые, а сам Достоевский, бедный Достоевский, раздираемый любовью и ненавистью, Достоевский — кающийся грешник.

Я догадываюсь об этом, потому что.

Это позорно, говорит Унковский.

Катков в восторге.

Достоевский возвращается из над синих морей, иуды целуют его в губы, которые некогда целовал Петрашевский, он дрожит, убегает блуждающим взглядом, а проклятые бесы рядом.

Мне жаль Достоевского.

Но Нечаев.

## 37

Он и во мне также.

Убийца?

Мистификатор?

Все дозволено?

Нет, нет, что мне Нечаев.

Экипаж катится петербургской улицей, из экипажа вы-

падает листок: если ты студент, передай — я, Нечаев, схваченный полицией, подвергнутый пыткам, но я убегу, а вы действуйте.

Не было экипажа, не было пыток, пятнадцатилетняя девочка, Вера Засулич, бежит с письмом на студенческую сходку, а в Швейцарии топорное стихотворение Огарева: жизнь он кончил в этом мире в снежных каторгах Сибири, но, до-гла не лицемерен, он борьбе остался верен.

Не кончил, вот он уже на родине, с мандатом Бакунина: Alliance révolutionnaire européenne, comité général, № 2771, и это тоже ложь, нет европейского союза, нет комитета, нет тысячи членов, только он, Нечаев, его воля, ненависть и отсутствие угрызений совести.

Катехизис революционера.

Революционер — человек обреченный.

Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела.

Нравственно все, что способствует победе революции.

Безнравственно и преступно — что ей мешает.

Революционер знает одну науку: науку разрушения.

Он не революционер, если он может остановиться перед истреблением чего-либо или кого-либо, принадлежащего к этому миру, если чувства могут остановить его руку.

На себя и на других он смотрит как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела.

Все дозволено?

Да, все дозволено.

С мандатом женевского фантаста путешествует Нечаев по мрачным подпольям Петербурга и Москвы.

В подполье ждут исключенные из университета медики, которые читали Чернышевского: вот светлое будущее, любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его (а это уже нелегальная книга, недолго длилось оцепенение цензуры); земледельческой академии голодающие слушатели, которые унижений и нищеты извели

в жизни досыта; ожидают стройные и доверчивые Веры, которые хотят счастья для всех и совсем не думают о себе; итак, прибывает Нечаев, предъявляет мандат: это я — основывает Общество Топора, которое поднимет народное восстание, уже скоро, девятнадцатого февраля.

Вы ячейки гигантской сети, которая покрывает всю Россию; над этой сетью — тайный комитет, я передаю вам его приказы; вы должны мне подчиняться.

Они подчиняются; встречаются ночью, письма какие-то не читая передают; катехизис зашифрованный учат на память; а еще, как распорядился Нечаев, следят друг за другом, выспрашивают, отчеты диктатору вручают; все для него, светлого.

Но один вдруг отказывается.

Строптивый студент Иванов не верит в полномочия Нечаева: не хочет расклеивать прокламации в студенческой столовой — еще закроют столовую из-за вашего вздора; Иванов, комитет приказывает, ты должен; покажите мне ваш комитет; впрочем, оставьте меня в покое, я уйду.

Уходишь?

Иванов — предатель.

Комитет приговаривает предателя к смерти.

Не могу, Нечаев, уволь, это ведь мой товарищ.

Передаю тебе решение комитета; ты еще колеблешься?

Ночью, в парке земледельческой академии, безусый Николаев с чахоточным Успенским хватают осужденного за руки; он пытается вырваться, кусается; стреляет сам Нечаев; в пруд, ряской заросший, бросают труп; Нечаев, что мы наделали; покарали предателя; смыкается ряска над мертвым, над живыми смыкается ночь.

Через четыре дня полиция нападает на след; сам Нечаев в Швейцарии, к груди Бакунина прижатый, но все остальные под судом.

Еще верят в него, гордятся, что выполняли его приказы, и счастливы, что он сумел убежать; ненадолго, его ведь выдаст Швейцария и на этот раз он в самом деле погибнет, но те, революции разбазаренный капитал, верят, что случится

иначе; вернется великий Нечаев, раздует пожар, отечественное зло испепелит, кровью черной омоет, и возникнет новый мир, в котором.

Это для этого мира.

Для этого.

Для какого мира, Нечаев?

Вы хотите, чтобы я поверил, что через эти мерзости.

Ничего не хочу, уважаемый литератор, в кресле, над белым листом.

Что мне до вас и что вам до меня.

Правда, что у меня общего с Нечаевым.

Моя бабушка была урожденной Нечаевой.

Вздор, он сын лакея, крепостного Шереметевых.

Что меня связывает с Нечаевым.

Ненависть.

С Богом моей юности, Белинским; с Петрашевским, наставником и другом; с красавцем Спешневым, в голосе которого я услышал свист гильотины; с Чернышевским, видящим вещи сны за стенами крепости; с Нечаевым, который не нанес врагам удара, но руки запачкал кровью товарища; с ними вместе и с них моя неостывающая ненависть, которая не умеет поджигать и убивать, а лишь умеет язвить и сочинять двусмысленные сказки; вы понимаете, Нечаев, каким ныне правом.

Отвернувшись спиной к судьям: не признаю вашего трибунала; не хочу ваших защитников; не признаю правительства, министров, царя; замыкаются ворота крепости; ах, существовал ли в самом деле Нечаев — не тот во мне, который мне возможно пригрелся — что за страшный сон, у меня руки в крови, не хочу, воды, не тот путь! — в самом ли деле существовал этот человек?

Как же я могу его осудить, когда им, тем, которые его судят, принадлежит мое осуждение.

Как мне брезговать им, когда брезгую теми, что с чавканьем и шипеньем ползают вокруг.

Как мне отречься от Нечаева, если.

Но как мне принять его, страшного и омерзительного?

Как мне признать тот мир, в котором законом будет его воля, холод и пренебрежение?

Выбирай, мой почтенный литератор.

Изгоняй бесов, как Достоевский, и пади в иудины объятия — или согласись на Нечаева.

На какого еще Нечаева?

Это легенда, не знаю никого с таким именем, это в Глупове безумном его кто-то выдумал, чтобы найти предлог для усмирения.

Реален лишь труп, но мало ли у нас трупов.

Еще цензор, у которого отвоевываю в винт четверть ереси; вы снова выиграли, Александр Григорьевич; это значит, что выиграл я.

Нечаева не было и быть не могло.

И без него достает призраков.

## 38

Ах, как вы благородны, господин литератор.

Как горой стоите за правду.

Сколь высокие доводы взвешиваете в чувствительной совести.

Я ждал тебя, призрак.

О, в самом деле, неужели ты помнишь.

Что же еще могло бы тебя вызвать сюда кроме моей памяти.

Память других.

Этих прекраснодушных либералов, которые не видели вас живых, но точно знали, какова суть ваша.

Красноречие тебе не изменяет.

Восхищение Аввакума бормотанием: а крестное знамение, тремя перстами сотворенное, троицу из Апокалипсиса означает — змею, скотину и лжепророка. А она змея суть дьявол, а лжепророк — патриарх московский, а скотина — злой царь, который зло милует, а равно и лесть.

А я, глаз на глаз с расколом, варварство и насилие видел, не оппозицию.

Значит ты не знал другого варварства и насилия.

Ваша святость, в дебри провалившаяся, гордыни полная и жизни мрачно противоречащая, большим меня наполняла отвращением, чем попов распутное равнодушие.

И поэтому.

Какие же другие мотивы могли меня склонить.

Ведь ненамного раньше (ты знаешь про это, призрак), когда мне было приказано усмирить бунт, я уклонился и в рапорте встал на сторону возмущенных крестьян.

Это похвально.

Брось иронию, призрак. Если ты тот, за кого я тебя принимаю.

Я тот. Рассказывай.

Сам знаешь, как это было. Ведь по следам твоих показаний я путешествовал по шести лесным губерниям, достиг скитов на реке Лупе и Леле, где из болот поднимались тлетворные испарения, в Ножевске и Осе самозванных патриархов допрашивал, в Казани же при обысках, которые проводил бешеный Мельников, присутствовал, чтоб вернуться с восемью томами дел.

И что же было в этих делах, скажи.

Истина, совсем для вас неприятная.

Чиновничьей твоей добросовестности истина.

Нет, человеческой моей совести.

Лишь часть ее я поместил впоследствии в губернских очерках.

Ты был вынужден, чтобы оправдать свои действия.

Какие действия? Разве я над кем-нибудь издевался, как Мельников. Разве я, по его примеру, сочинял проекты, чтобы из сектантов усиленной набирать рекрутов, или детей отрывать им от лона.

Можешь еще гордиться, что ты, как Мельников, не крал икон во время обысков.

Снова ирония. Не к лицу она тебе, моя тень.

С иронистом ведь разговариваю. Признай, что в этой истории достаточно забавных страниц. Хоть бы та, что в твои папки с делами даже никто не заглянул, ибо когда ты вер-

нулся, времена изменились. Или взять карьеру Мельникова: он стал литератором, вас называли рядом в разборах господствующего направления. Но о расколе он писал с большей нежностью, чем ты.

У меня была чистая совесть.

Так уж совсем чистая?

Сомневаешься, призрак?

Нет, ты сам сомневаешься.

Шли годы, я задыхался, я хотел вырваться из неволи.

Слишком рано – все изрекал Николай.

Поэтому ты должен был заслужить.

Любые способы выслуживаться вызывали во мне отвращение.

Бывают удобные стечения обстоятельств, когда можно выслуживаться, сохраняя чистую совесть.

Что за облегчение: политика правительства совпадает на этот раз с моими убеждениями.

Это ты так говоришь?

Тебе подсказываю. Наберись мужества и продолжай.

Следовательно я делаю то, что они желают; не для того чтобы выслужиться, но – потому, что верю в правильность своих начинаний; мысль о заслугах загоняю как можно глубже; но вместе с тем ведь выслуживаюсь; разве я не честен? Я не уступил соблазну выслужиться вопреки совести.

Аминь, самонасмешник. Это уже все: отпускаю тебе твою вину.

Стой, спесивый. По какому праву ты, который давал показания.

Меня били, ваше благородие. Я, Ананий Ситников, Старой веры апостол, в Сарапуле фон Дрейером захваченный, был бит в тюрьме и давал показания, пока не отдал Богу душу, в тот день, когда тебе вышла амнистия.

Я не знал.

А хотел ли ты знать?

Значит, теперь ты всегда будешь приходить ко мне.

Не так часто, чтобы тебе было невозможно с этим жить.

Мельникова ты тоже навещаешь?

Никогда.

Если бы я мог вторично, зная однако о последствиях.

Бредни.

Костя, Лиза, если бы я по крайней мере хоть вам мог объяснить.

Моя жизнь, жестоких ошибок полная, от которых я уберечься не сумел, вам по крайней мере.

Но я за все расплачивался.

Эта история, в которой своей вины я не вижу, самое большее легкомыслие, все же.

Это уже было в Твери, куда я прибыл после конфликта с Муравьевым в Рязани.

Летним утром мне вручили письмо в распечатанном конверте.

Меня это отнюдь не удивило, вскрывание корреспонденции входило в обязанности подчиненного мне канцеляриста.

Однако когда я заглянул внутрь.

Смазанные букочки размноженной на гектографе прокламации высокомерно требовали конституции, полного раскрепощения крестьян, человеческих прав и свободы.

Эти мысли мне были слишком близки, чтобы я тут же не понял: это провокация.

Эту ловушку подстроило Третье Отделение — и попасть в нее я должен неминуемо, даже если не дочитав до конца, уничтожу эту опасную бумагу.

Канцелярист, который вскрыл конверт, является свидетелем, что прокламация попала мне в руки.

Что вы с ней сделали, Салтыков?

Кто поверит, что уничтожил, не читая.

Но что мне оставалось.

Я сложил листок пополам и уже надорвал его, когда вдруг я нашел лучший выход.

Губернатор Баранов.

Это порядочный человек, к тому же — вне подозрения начальства.

Я не ошибся: уже на следующий день он равнодушным

голосом сообщил мне, что бумагу уничтожил, Петербург таким пустяком не тревожа.

Как-то в сентябре я снова получил письмо.

В октябре же пришло известие, что офицер Обручев арестован в столице.

С Обручевым я некогда познакомился у Чернышевского.

Очень молодой, но Чернышевский его ценил.

Он показался мне симпатичным.

Обручева взяли за прокламации.

Без доклада, я ворвался к Баранову.

Ваше превосходительство, пробормотал я запыхаясь.

Он поднял на меня спокойный, хоть и несколько удивленный взгляд.

Не опасайтесь, Салтыков. Вам ничего не угрожает. Препроводя прокламацию в Петербург, я подчеркнул вашу лояльность.

Но ведь в первый раз, вы.

Ну да, но затем поступил циркуляр. Вы это слишком близко к сердцу принимаете, я вас не понимаю, Салтыков.

По дороге в Петербург я немного пришел в себя.

Когда Чернышевский и Добролюбов в своих траурных, в складках словно тоги, сюртуках, над поступком моим суд вершили, я пробовал защищаться.

Ведь я не предполагал, откуда я мог знать, я думал, что это.

Надо было предполагать.

Но зачем он прислал мне в присутствие? Почему не на квартиру?

Их презрение не внимало моим доводам.

Пришел Елисеев, захлебываясь рассказывал, что Третье Отделение получило сорок шесть конвертов, уликой же явился перстень отправителя, оттиснутый на некоторых из них.

Моих он не запечатывал перстнем! — воскликнул я с облегчением.

Добролюбов отвернулся и начал барабанить пальцами по стеклу.

Ладно уж, ладно, проворчал наконец Чернышевский, возвращайтесь в Тверь.

Своих судей я уже больше никогда не встретил.

Добролюбов умер до конца непримиренный с людскими колебаниями и падениями, безжалостный к своему преждевременно истерзанному телу и ни за кем не признавая права на тревогу, на бегство от боли, на жажду удобств, спокойствия или безопасности.

Ему было двадцать пять лет.

Он обижал меня, но я чту его память.

С Чернышевским я впоследствии обменялся несколькими письмами по делам редакции; они были достаточно сдержанными — обоих нас стесняло воспоминание о злополучной истории с прокламациями; но полагаю, что он пятна на мне не видел; как бы он в противном случае согласился на мое сотрудничество в журнале, который вел вместе с Некрасовым?

Быть может, он не забыл еще собственную поездку в Лондон, где от оскорбительных обвинений должен был перед Герценом оправдываться.

Через год после первой прокламации Обручева в каземат бросили Чернышевского.

Некрасов принял меня в редакцию.

Началась новая глава моей жизни.

Как литератор и редактор, я мог уже не опасаться подозрений в неблагонадежном чтении.

Я стал его широко известным автором.

Когда Обручев вернулся из ссылки, я встречался с ним, он сотрудничал в нашем журнале.

Он не сохранил ко мне обиды, он лучше всех знал, что в его несчастья не было моей вины.

Но для меня.

Идут, плачут — не в наших на этот раз краях — но это война..

Истекают кровью, сухари крадут — лягушатники, фран-

цузишки дохлые — чтобы Гогенцоллерн не сел на испанский трон — кавалеристы атакуют, маршалы сдают крепости — пруссаки все лезут вперед, тоже верно истекают кровью, но кровь победителей предусмотрена в штабных планах, а побежденных кровь — ручьями.

С Крымской едва пятнадцать лет прошло.

Бонапарт не любимец России, но несмотря ни на что, французам теперь желаем победы.

На ход войны желания наши не влияют.

Гамбетта пылкий на шаре „Жорж Санд” поднимается, мужества! — призывает он, а в Париже на человека тридцать грамм конины, Луарская армия перестала существовать, Базен капитулирует в Метце, пруссаки у ворот Парижа.

Нам, издали следящим за трагедией, как обычно, остается филантропия.

Петербург фанты разыгрывает и трели выводит в пользу французских инвалидов.

Как я вышла на крылечко, ла-ла-ла, ли-ли-ли.

На одном из филантропических вечеров подходит ко мне Тургенев.

Несколько лет назад, когда я видел его последний раз, он отнесся ко мне с холодной, несколько пренебрежительной любезностью; я отплатил ему нескрываемой иронией; теперь он сердечен, чуть ли не откровенен; я сбит с толку и никак не умею найтись.

Вы из Баден-Бадена, Иван Сергеевич?

Нет, из Лондона. Я радовался, что встречу с вами. У меня есть кое-что для вас. Но сперва я хочу пожать руку великому русскому писателю.

Стало быть, не из Баден-Бадена, повторяю я бессмысленно, подавая ему руку.

Из Лондона, Михаил Евграфович, из Лондона. А это для вас.

Он вручает мне несколько страничек, покрытых четким иностранным шрифтом, который для меня столь легко ассоциируется с творчеством Тургенева и вовсе не ассоциируется с моим.

Да поглядите, уговаривает Тургенев с улыбкой довольного шалостью ребенка.

History of a Town, читаю, все еще не понимая, edited by M. E. Saltykoff.

Это моя рецензия, выясняет улыбающийся Тургенев, теперь вы наконец поверите, что я приезжаю не из Баден-Бадена, а из Лондона.

Я молчу, недоверчиво поглядывая то на него, то на английский оттиск.

Да разойдитесь же, наш русский Свифт, просит Тургенев, вы написали великую книгу, разве вы этого не знаете?

Не знаю, бормочу я, все еще не доверяя, что именно Тургенев меня хвалит; именно он, который до сих пор так недоброжелательно взирал на все, что я писал; а теперь, когда почти никто не понял истории одного города, когда меня за нее оплевывают в печати и оскорбляют в частной жизни, надо же было чтобы именно он один оказался тем, который понял, он один протягивает руку; не знаю, Иван Сергеевич, и откуда бы мне знать, скажите вы мне.

Тургенев становится серьезным.

Вы знаете, Михаил Евграфович.

Вы слишком умны, чтобы не знать, что написали самую правдивую книгу о России.

И если никто не высказал этого до меня, я тем более горд, что мне это выпало на долю.

Я никогда не скрывал, сколь чуждым было мне то, что вы писали.

Ныне я склоняюсь перед вами.

Я не скромничаю, мы все пишем романы лучшие или худшие, но такую книгу, только вы один.

Так что примите с открытым сердцем то, что я говорю.

Он снова протягивает руку, я пожимаю ее, но не умею выдавить из себя тех сердечных слов, которых он вероятно ждет.

Я бы хотел их найти; ведь я в самом деле благодарен — что он понял, что заметил и что — именно он; мое замерзшее сердце охватывает волна тепла, какие-то стершиеся

воспоминания — ах, да, когда я первый раз в жизни пил водку на почтовой станции, такое же тепло: но мне было легче тогда разделить его с жандармским офицером, чем сегодня с товарищем по перу, который по-братски отнесся ко мне.

Благодарю за расположение, удастся мне сказать наконец; получается это натянуто, так что бреду дальше: мне приятно, Иван Сергеевич, что вы столь великодушно оценили мои забавы, а Свифта мне как-то до сих пор.

Вы непременно должны прочесть.

А что вы думаете о последней поэме Некрасова, уже совсем неудачно меняю тему разговора.

Некрасов, хмурится Тургенев, я предпочел бы не вспоминать об этом человеке.

Это настоящий поэт, бросаю я вызывающе, а я что, публицист.

Вы себя недооцениваете, говорит, уже холодно, Тургенев.

Изысканно склоняя голову, он отступает в сторону кринолинов и шляп с цветами, которые расступаются, давая ему дорогу.

Как я вышла на крылечко, ла-ла-ла, ли-ли-ли.

И грохот прусских пушек, бьющих в Отей и Пасси.

## 41

У этого солдата нет снов.

Четыре дня он умирает на побоище; воды; ужасающая осознанность, под светло-синим балканским небом, которое не раскрывает ему никаких тайн, просто распростерто, с ядром солнца посередине, а когда ночь — с большой звездой и с блестящей мелочью вокруг; кусты; травинка; муравей; рядовой-вольноопределяющийся с раздробленными ступнями ползет к распухающему соседу — к феллаху, которого он заколол штыком; мертвый враг, как брат, отдает ему свою манерку; вода теплая и приторная; гниющего спасителя черви точат; смрад переворачивает внутренности;

манерка выпадает из рук; рядовой-вольноопределяющийся плачет.

Никаких снов, только смердящая действительность.

Четыре дня, пока найдут, в лазарете на стол положат; потом в солдатской шинели он постучится в редакцию; да вы же писатель, печатаем, разумеется; странным посмотрит взглядом и, хромая, молча выйдет; и лишь когда-то, за перила лестницы вытягивая руки, как пловец, бросится вниз, чтобы затем четыре дня умирать на больничной койке, в солнце своего безумия и осознанности.

Гаршин его фамилия.

На тридцать лет моложе меня.

Наша надежда.

Цензура соглашается на рассказы без снов.

В снах бывают намеки; также в сказках и иносказаниях; а это из жизни наших храбрых солдат; и кончается хорошо — ведь нашли, только одну ногу отняли; а вы говорили, Салтыков.

Я говорил: без козыря.

На Шипке, говорят, снег.

Армия Гурко подходит к Адрианополю.

Рядовой-вольноопределяющийся плачет над разлитой манеркой.

В этом, слава Богу, нет никакого намека.

## 42

А я что, публицист.

Понятия, вот, хотя бы за Катковым, подбираю.

Выстукиваю и слушаю.

Такое модное словечко: анархия.

Была минута, когда чуть ли не всю Россию подозревали в анархических устремлениях, когда лишь абсолютный дурак и отъявленный подлец могли чувствовать себя свободными от ярлыка: анархист, поджигатель.

Была минута, пишу я. Была. В осторожном времени.

Что же по сути дела, спросим, является анархией в глазах толпы? Это возбуждение умов, скептическое отношение к мифу, который управляет существованием человека, поиски правды, более соответствующей изменившимся условиям жизни, сама, наконец, жизнь, переходящая со старых на новые рельсы. Другими словами, анархия это всякое движение, прогресс, глубочайшее содержание истории, если под историей подразумевать нечто другое, чем.

Тут на половине фразы конструкция должна со скрежетом застопориться и вдруг необходимо расстаться с ней, ломая ее вопреки обещанному закону этой книги.

По правде сказать, это досадная, но неизбежная мера, ибо Салтыков не может видеть тех грозных линий, которые сам царь, разрывая карандашом бумагу, вдоль страницы чертит, ни видеть, ни узнать ниоткуда не может, а злобные эти линии тем временем будут удлиняться и раздуваться, пока не в столь отдаленном будущем достигнут неблагонадежной редакции и окрестятся над ней безжалостным иксом приговора.

Салтыков не знает, но на этот раз автор не сумеет тоже не знать.

Он ломает конструкцию, отделяется от героя, проникает в обветшалые стены учреждений и тщательно охраняемые двухстворчатые двери императорского дворца, снует тайными переходами, сидит в засаде в оконных нишах и за спинками кресел, чтобы успеть по очереди подсмотреть каждого из участников интриги, заглянуть им в лицо, расшифровать движение пишущей руки.

Выгаращенные в испуге глаза цензора, который прозевал.

Раздутые бдительностью ноздри чиновника III Отделения, который составил рапорт.

Рука царя, поросшая рыжими волосками, спазматически сжимающая карандаш, словно неуверенная, сумеет ли свободно управлять столь хрупким орудием.

Значит, в самом деле за это?

Автору столь любопытен этот банальный вид и он настолько уверен, что читатель разделит его любопытство — что он не остановился перед нарушением создаваемой до сих

пор иллюзии внутреннего участия, с которой велел сжиться и читателю и сам сжился с нею до такой степени, что подобный разрыв с ней оказался столь трудным?

Именно так: более сомнительна необходимость изменения перспективы, содержащаяся в самом рассказе, чем желание автора хоть не надолго поломать игрушку.

Ему надоело слишком уж полное и продолжительное вписывание себя в образ, которым ведь он сам не был и не является, он ощутил страх, что перестанет существовать в собственной конструкции, сверх желания и необходимости отождествленный с героем, лишенный своей обособленности, бесповоротно застрявший в созданной собой ловушке приема — так что в середине книги он восстает против последствий литературного замысла.

Через минуту он откажется от бунта и уже до конца позволит управлять принятому в самом начале закону.

Но сейчас — хотя бы ценой диссонанса и нарушения конструкции — он должен перевести дыхание, утраченное вместе с задыхающимся героем, отдалиться от русского писателя, увидеть его извне, а кроме него — тех, впрочем столь незначительных, как чиновник, цензор и царь Всея Руси.

Итак царь.

Это тот самый, Александр II Освободитель, воспитанник романтического поэта, который внушил ему.

Я счастлив, поручая Салтыкову.

Чувство благородства, над сломанным крылышком птенца слезы лил, сочувствовал крестьянам и каторжникам.

Должно было быть совсем иначе, чем при Николае.

Цепенеющий при каждом шорохе, постаревший и обрюзгший.

Рука, поросшая рыжими волосками, выпускает карандаш, в раздражении барабанит по столу, снова хватается карандаш.

Царь пишет: министр внутренних дел пусть обратит на это внимание.

Министр Тимашев обращает внимание.

Царь читает: мы надеемся, что читатель просмотрев эти высказывания, согласится с нашим мнением, что они пол-

ностью, и к тому же с полной свободой, освещают не только сам факт, который явился предметом процесса, но также более отдаленные причины, которые.

Царь раздумывает некоторое время и пишет на полях: ирония.

Над головой язвителя и журналом, в котором он печатается, слуги подвешивают меч.

Обзор печати прошел, об анархии Салтыков пишет, ничего не зная о мече над головой.

Но болит голова.

Так называемые анархисты, с больной пишет головой (ах, неисправимый), никогда ведь не действовали с таким поразительным ожесточением, с каким всегда и везде поступают анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобья наиболее непреклонные из приверженцев Коммуны.

Останавливается, осторожно подбирает эпитет, чтобы кто-нибудь не смог упрекнуть его в симпатиях к коммунарам. Не уничтожили с самого начала самые беспощадные. Чем наиболее безумные. Ожесточенные. Фанатичные. С начала беспорядков самые дикие сторонники Коммуны. Так наверняка пройдет — он доволен своей осторожностью.

А меч висит.

А голова болит.

Сердце стучит, расширяется, подступает к горлу.

Болят опухшие руки и ноги.

За границу, говорят врачи, как можно скорей за границу.

На тоненьком волоске, хотя его и не видно.

## 43

За границу, говорят врачи, на воздух и воды.

Как же так: за границу?

Ведь еще никогда.

Дорогой Павел Васильевич (это Анненкову), не были бы

вы любезны подыскать для меня с семьей недорогую квартиру в Баден-Бадене.

Прошу простить мне эту просьбу, но зная вашу любезность.

Чувствую себя так, что охотно бы уже никуда не двинулся и дождался смерти в собственной кровати.

Но поддохнуть, оставляя двух маленьких детей.

Лиза, ты пересчитала багаж?

Ну, сядем на минуту — и в путь.

Мишель, а если локомотив не тронется с места?

Хе-хе, милостивая государыня, видно не часто еще.

Можно не опасаться, тронется.

Ныне техника способна творить чудеса.

Да, да, но все же это как-то неуютно.

И уютно станет, когда человек самовар поставит.

А за границей — самовара, правда, не будет, но зато — сосиски с горчицей.

Слышишь, Мишель, у немцев продают сосиски.

Слышу.

Железная дорога это сейчас самое доходное дело. Раз Шмулик Поляков вкладывает капитал — знает, жидюга, что делает.

Его Величество графа Бобринского министром путей сообщения назначил.

А в последнем романе графа Толстого благородная дама гибнет под колесами поезда.

Ах, что вы говорите.

Лиза, жеманничая, позволяет пересказать себе гинекологический роман Толстого.

Чтобы не слушать, плотно запахиваюсь в шинель, закрываю глаза, стараюсь уснуть.

Сон не приходит.

Весь вагон наполнен гомоном счастливых русских вояжеров.

Их разговоры о богатстве лодзинского еврея и романе графа заглушают стук поезда.

Не предполагал, что такая толпа.

Пушкин никогда не получил паспорта.

Однако кое-что изменилось.

Может и в самом деле технический прогресс расширяет рамки свободы?

Только у нас каждое железное колесико встает на балласте из раздробленных человеческих костей.

Есть такое стихотворение Некрасова: призраки крестьян, погибших при строительстве железной дороги, окружают несущийся поезд.

В ночь эту лунную любо нам видеть свой труд! — слышишь угрюмое их пенье?.. Это наше творение! Мы надрывались под зноем, под холодом, с вечно согнутой спиной.

С визгом и лязгом останавливается поезд, Лиза кричит: Ой, что случилось! — и театральным жестом хватает меня за руку.

Это граница, успокаивает ее усатый дамский угодник, тот что про Толстого, сразу видно, что сударыня.

Это граница, неожиданный испуг сжимает мне сердце, они войдут: Салтыков, куда?

Таких как вы.

Собирать манатки — и.

Смотри, Мишель, смотри!

Открываю глаза.

Что, что такое?

Смотри, какие хлеба!

Все толпятся у окошка, один отталкивает другого, окрики изумления испуская: какие хлеба! у нас таких сроду! у нас все саранча сожрала, а тут!

Теперь знаю, что меня пустили за границу.

Гомон как будто тот же, но тональность гомона — иная.

Никто уже не изумляется состоянию Полякова, карьере Бобринского, ни даже таланту Толстого.

*La Russie, ха-ха-ха, le peuple russe, ха-ха-ха, les boyards russes.*

Русские вояжеры захлебываются воздухом свободы.

А знаете, господа, наш рубль, ха-ха-ха, за пятьдесят копеек отдадут.

А знаете, господа, у нас на прошлой неделе чиновники всю губернию растащили.

Ха-ха-ха.

И вдруг мне хочется крикнуть: неправда!

Хотя знаю, что это правда.

Хотя все, что пишу — об этом.

За окном пробегают богатые немецкие поля, немецкие дети в башмаках и штанах платочками машут, словно офицер выпячивает грудь аккуратный немецкий пейзаж.

Лиза, давай вернемся!

Что ты сказал, Мишель?

Ничего, ничего.

Я тоже опасаясь, что Анненков не нашел квартиры.

Но, милостивая государыня, в Баден-Бадене на вокзале ожидают комиссионеры, все превосходно устроят.

Слышишь, Мишель, комиссионеры.

Ха-ха-ха, la Russie.

Слышу.

#### 44

Родиной моей юности была Франция.

В Петербурге я и мои друзья существовали лишь фактически: ходили на службу, столовались в кухмистерских, от родителей из деревни получали письма, не скупящиеся на поучения и менее изобилующие деньгами.

Но духовно мы жили во Франции.

Разумеется не во Франции Гизо и Луи-Филиппа, но в стране Фурье, Сен-Симона, Луи Блана, особенно же обожаемой Жорж Санд, которая сквозь петербургские туманы, через границы заставляла наши сердца дрожать ожидающе и тревожно.

Россия была нереальной, сводилась к мрачному анекдоту: доктор Даль надумал издать сборник пословиц, стало быть—стало быть, ему утерли нос; на учебник арифметики в типографии наложили арест, потому что между цифрами какой-то задачи обнаружили ряд страшно подозрительных точек; загорелась палатка фокусника Леманна, полиция разогнала

желающих тушить пожар, ибо право на это имеют лишь пожарные, а пожарные приехали уже после всего; пьяный рязанский помещик своих равно пьяных гостей передал в руки жандармов как опасных заговорщиков; да, не-реальной и мертвой; без улыбки повторяли мы анекдоты и как можно скорей возвращались во Францию нашей мечты.

Там пульсировала жизнь, там будто все только начиналось, разрушалось, взрывалось, у нас там были друзья и враги, и те и другие не знали о нашем существовании, но мы их знали, мы принимали близко к сердцу поражение друзей и торжествовали, когда у врагов подворачивалась нога, ведь ничего не было заранее предрешено, все могло разыграться так или иначе, мы жили тем, что происходило в Париже.

Ни один из нас еще там не был.

Таким образом нас притягивали не бульвары, не уличные развлечения, ни даже незнакомый нам вкус *barbue sauce Mornay*.

Мы тосковали о великих принципах 1789 года и обо всем, что оттуда проистекало.

И абстракция эта была для нас единственной достойной внимания действительностью.

Однажды утром, на масляной 1848 года, я был в итальянской опере.

Алина тоже была там; она в ложе, я в партере; мне нельзя было подойти к ней и лишь изредка мне было дозволено окинуть ее не выдающим страсти взглядом; когда я смотрел на нее, я видел нежный овал ее лица, трогательную белизну плеч и рыжеватую прядь за маленьким ухом; всей силой воли я переводил взгляд в сторону сцены.

Много лет спустя мне пришло в голову, что в Алине я любил не только прекрасную и недоступную женщину, но также — Францию, которую ее отец, военный инженер, покинул ради золотоносной службы царю.

Еще позже — что внучке отнюдь не санкюлотов, но тех, что до двухглавого орла присягали бурбонским лилиям, были чужды, если не прямо враждебны, мои стремления к Франции — к Франции иной.

В моей жене Елизавете также течет галльская кровь — по матери; отсюда ее необыкновенная красота.

И Елизавете также чуждо то, что мне ближе всего.

Но тогда, в опере, я естественно не предвидел этих мыслей.

Нежная музыка Россини доходила ко мне словно сквозь плюшевый занавес, в глазах стояла — даже когда я не смотрел на нее — Алина, я ни о чем не думал, мне было хорошо, как в детском сне под шумящими деревьями.

И вдруг меня кто-то толкнул.

Я увидел товарища по Военному Министерству (и по кружку Петрашевского), Ахшарумова.

Он кольнул меня черными блестящими глазами и вполголоса сказал: пало министерство Гизо.

Все вокруг закружилось.

Музыка зазвучала напористой, она уже не ласкала, но поднималась на баррикады, а с ней вместе — я и вся публика; да, мне казалось, что все так же, как я, возбуждены этим известием из Парижа, радуются и торжествуют; впрочем я, пожалуй, не слишком ошибался — в этом зале было много молодых патриотов Франции; так вот, сидя в креслах итальянской оперы, мы шли вперед под трехцветным знаменем; если и прежде мне было хорошо, теперь — я был пьян от счастья.

Я посмотрел наверх: Алина сидела, заслушавшись, в той же позе, что и раньше, не дрогнула даже рыжеватая прядь за маленьким ухом.

Она не знает, подумал я.

А хоть бы и знала — это добавляю я, брюзгливый, на четверть века старше — ничего бы не изменилось.

Тогда я не представлял себе, что кому-либо, а тем более Алине, может быть безразличным падение Гизо.

До конца спектакля пало уже и новое министерство Тьера.

Несколько дней спустя Франция стала республикой.

Пламенная Жорж Санд редактировала бюллетень, к членам правительства входила без пропуска, своей приятельнице Виардо (любимой впоследствии Тургеневым) велела сочинить новую Марсельезу, на слова Дюпона.

Если под коммунизмом, писала она, вы подразумеваете желание и волю, чтобы уже сегодня исчезло возмутительное неравенство крайнего богатства и крайней нищеты, уступив место рождающемуся подлинному равенству, тогда — да, мы коммунисты.

В те дни я несколько забросил Алину.

В петербургской повести соорудил пирамиду, вдохновенную Сен-Симоном.

Пирамида обрушилась на меня.

Два месяца спустя я подъехал в кибитке к крыльцу вятского губернатора.

Алина была далеко, Франция — еще дальше.

В течение восьми лет родина моей юности удалялась все больше, затягивалась туманом и умолкала.

Я еще тосковал о ней, пока в конце концов — перестал тосковать.

Наступила минута, когда реальной стала Россия.

Не перестала быть мрачным и тупым анекдотом, но я — очутился внутри этого анекдота.

Россия стала анекдотом обо мне, так что не удастся поспешно повторить его и ускользнуть.

Вот ваш паспорт, Михаил Евграфович, поезжайте во Францию.

Благодарю.

Les voyageurs — dehors!

И Франция не та, и Михаил не тот.

Смотри, Мишель, какая на полицейском пелеринка.

Bonjour, Paris!

Чутьочку поздно.

Вся Германия — это Берлин и лакейские города, курорты. Берлин — второразрядный разврат, нарочитая веселость и комплекс нуворишей.

Wir haben unsere eigenen gamins de Paris.

Берлин — это как Петербург в пять часов после обеда, когда голодные и злые чиновники, не оглядываясь спешат к разогретым щам.

Есть улицы, на улицах люди, но уличной жизни — тщетно было бы искать.

А ведь лишь она.

Основать университет, пригласить профессоров для комментирования совершившегося факта, построить музеи и оперы и памятники — для богатого и сильного начальства это пустяки.

Но скуку берлинскую какой декрет, какой гром победоносной артиллерии разогнать сумеет?

Дальше, Лиза, посчитать багаж — и дальше.

За Берлином, до самого живописного Рейна, тянется страна Тринкгельд.

Берущий Тринкгельд — продается с потрохами.

Жизнью тех, кто раздаёт Тринкгельд, управляет инстинкт физического самосохранения.

Думать, волноваться, помнить о прерванной дома работе — nicht kurgemaess.

Kurgemaess: тянуть Kraenchen через стеклянную трубку, любоваться schöne Ansicht, дамам кланяться на променаде.

Доктор, я уже третий стакан выпил.

Ходите, обменивайте вещества.

Доктор, вчера я получил письмо из России. У нас ведь знаете что?

Я бы особенным постановлением запретил писать из России курортникам. Ходите, обменивайте вещества!

Гуляют, кланяются, министр и шпион, кокотка и бесплодная миледи, обмен веществ и Тринкгельд; наплюю я на эти воды, отчаивается полуживой рязанский помещик, закачусь на целую ночь в Линденбах, Грете двадцать марок в зубы — скидывай, бестия, лишнюю одежду; завитой обер-кельнер с перстнем украшенным крупной бирюзой — *das hat mir eine hochwohlgeborene russische Dame geschenkt*; и посередине я в кресле на колесиках; добрый день; добрый день, милостивая государыня; о, и князь тут; добрый день.

Павел Васильевич, как вы тут можете выдержать.

Чего не сделаешь для здоровья, Михаил Евграфович.

Анненков рядом со мной, хоть и опираясь на палку, но проворно перебирает ногами.

А прогос, я получил последний номер, в самом деле превосходный.

Анненков, как обычно, хочет доставить собеседнику удовольствие.

Только откуда у вас взялся Достоевский?

А почему бы нет? Разве мы его когда-либо отлучали?

Но он вас; нас — поправляется Анненков, вспомнив, что он тоже прогрессивный.

А знаете, когда Некрасов предложил ему печататься, не прошло и недели, как прислал.

Впрочем я не в восторге.

Добрый день; добрый день, господа; добрый день.

С Елисеевым настоящая комедия, все путают его с купцом, носящим ту же фамилию и предлагают сделки, а в Эмсе, хозяйка никак не могла понять: такой знаменитый негодник — и скупой, так что начала его преследовать, то постель даст не такую, то шум под дверьми устроит, а он.

Добрый день; добрый день, милостивая государыня.

Нет, нет, Павел Васильевич, я не выдержу.

## 46

Под немецкой периной сон бесцветный и плоский, но отчетливый — люди словно вырезанные из бумаги, и я из бумаги, только они все без глаз, я же их превосходно вижу, так что верно глазами, а то чем же еще?

И к тому же запах — не немецкий, скорей отечественный, наполовину хлев, наполовину московский трактир и губернское присутствие чуть-чуть примешивается.

Много людей, каждый что-то делает, один тесто катает, второй подметки прибывает, третий листья сгребают, четвертый у пятого из кармана бумажник вытаскивает, седьмой восьмого порет.

Так все спокойно, без крика.

Но вот что странно — у каждого голова высунута вперед, вперед и одновременно вниз; руки — свое, а голова — свое.

И полицейский так же: шагает по улице, палкой, как положено, по хребтам бьет, его голова же — вперед и книзу.

Может вы мне объясните, обращаюсь любезно, почему все — вперед и книзу.

Будто бы, ваше превосходительство не знает, что жолуди в небе не растут, отвечает бумажным голосом полицейский.

Но как же вы так без глаз?

А носами, ваше благородие, носами.

И в доказательство, что нос у него работает, нагибается и зубами бумажный жолудь хватает около моей ступни.

Слышен короткий хруст и кряхтение и полицейский идет дальше, палкой по хребтам колотит, с головой — вперед и книзу.

Догоняю его и за руку.

Следовательно никто никогда кверху и вбок, спрашиваю пораженный.

Ой, ваше благородие, с упреком говорит полицейский, разве ты не отрекся было от утопии, а теперь снова?

А может если бы вбок нагнуть голову, стараюсь соблазнить его, придорожной грушей бы пахло?

Если бы кверху — может жаренные рябцы сами в рот полетят.

Не накликай беды, ваше благородие, сурово говорит полицейский, не поднимая головы.

У нас народ утопию давно растоптал и растер, ты о грушах и рябцах не толкуй.

У нас спокойствие и порядок.

У нас как установилось, так и стоит.

И никому никогда не приходит в голову?

Никому, все более нетерпеливо отвечает полицейский.

И все жолуди жрут.

Употребляют, а как же.

Ибо и нет ничего кроме жолудей.

Все остальное — утопия.

Зачем же ты тогда лупишь по хребтам?

На это блюститель порядка уж вовсе не отвечает и двигается вперед.

А если бы я кликнул людей и провозгласил утопию?

Так мы тебе, ваше благородие, ручки к лопаткам и.

Прежде чем он фразу закончил, чувствую, что мне руки назад выкручивают и вяжут.

Утопия, начинаю кричать, вырываясь, да здравствует утопия! Без нее человечность свою утратите! Пусть хоть сто, хоть десять, хоть один из вас уверует в утопию, и тогда?

Но никто не обращает внимания на мои призывы.

Делают свое и с бумажными головами, без глаз, вперед и книзу вынюхивая, ищут жолудей.

В выкрученных назад руках чувствую все усиливающуюся боль.

## 47

Меня огорчило, Николай Алексеевич, что вы жалуетесь на здоровье.

Не помешало бы и вам, пожалуй, глотнуть заграничного воздуха.

Что касается меня, то чувствую себя несколько лучше, особенно с тех пор, как я в Париже.

Париж чудесен.

Если бы у меня хватило сил, весь день шатался б по бульварам.

К сожалению.

Но был уже на Champs-Élysées, провел также восхитительный вечер в Vaudeville.

Что за актеры!

Столуемся в Diners de Paris, где за пять франков подают поразительный обед.

Правда, желудок не вполне слушается, а супруга моя прямо не выносит этой кухни.

Лиза, куда ты снова делась?

Покупки, вечные покупки, словно ей чего-то недостает, ведь у нее все есть, зачем столько покупок.

Париж чудесен.

Францией управляют капралы.

Сам Мак-Магон капрал.

А роigne в сладкой Франции.

Тут не говорят: нигилист, только коммунар.

Но делают с ними то же самое.

А в Национальном Собрании проходимцы по куску Францию сжирают.

Чужая страна, а сердце кровью обливается.

На улицу б не выходил, чтобы не смотреть на это.

На парижскую улицу?

Не выйти на парижскую улицу?

Туда, где солнце веселое и воздух веселый, и люди.

Где за столько лет впервые.

Я не в силах это произнести.

Боюсь, не сумею выдать из себя.

Где за столько лет я впервые счастлив.

Я никогда не мог себе представить, чтобы человека могла охватывать радость при виде какой-то площади.

Но очутившись на Place de la Concorde поистине убедился, что.

Это невероятно.

Самый угрюмый, самый одинокий и больной человек — и тот непременно отыщет доброе расположение духа, и такое сердечное благоволение, как только очутится на парижском бульваре.

Конечно — до тех пор, пока не встретит соотечественников.

На каждом шагу натыкаюсь на них.

В Café de l'Oréga блаженствующий Соллогуб: вы были в Баден-Бадене, как жаль, если бы я знал, я бы зашел засвидетельствовать почтение.

Ведь вы же меня видели на променаде и ждали, пока я первый поклонюсь.

Я, Михаил Евграфович? — словно пораженный.

Отворачиваю голову, а тут — Стасюлевич, как старая обложка, из которой вырвали книгу.

А вы все притворяетесь злым, смеется Тургенев.

Ведь вы же человек огромной доброты, ну, конечно же, наивный и добрый, а притворяетесь драконом.

Я — добрый? Только этого мне недоставало: добрый!

Тут по крайней мере, в Париже, вы бы, пожалуй, могли.

Мог бы, мог бы! Видно не могу. И зачем?

На завтраке у Тургенева знакомлюсь с французскими писателями.

Флобер — это мощь.

Золя — да, порядочный, но бедный и забытый.

Все остальные — импотенты и пустозвоны.

Альфред, потягиваясь утром в постели, вдруг вспомнил, что от Селины прошлой ночью пахло теми же духами, какими обыкновенно прыскается Жюль! Это обеспокоило его, особенно же, когда он осознал, что эту ночь провел не с Селиной, а с Клементиной.

Хапуга Стасюлевич романы Золя с рукописи переводит и еще нравоучения ему читает.

А вы тоже редактируете журнал?

Золя смотрит на меня глазами собаки жаждущей ласки.

Помогаю Некрасову.

Ааа. Так может быть вы — он заикается и краснеет — взяли бы у Тургенева мой адрес.

Весьма охотно, но однако раз Стасюлевич.

Да, да, бормочет Золя, конечно.

Он стесняется сказать, что хотел бы немного больше зарабатывать.

Мы все, вмешивается Гонкур, рассчитываем на русскую публику.

Это старший из братьев, младший недавно умер, но этот, говорят, более способный.

Пишет для Стасюлевича фельетоны.

На русскую публику?

Сейчас во Франции мало кто читает, а у вас.

Выхожу с завтрака униженный.

Среди детей, воробьев и ротозеев, на солнечную парижскую улицу.

Париж чудесен.

Ах, прошу, ах, очень прошу, Михаил Евграфович, мне это так важно.

Что этот шут снова выкинул.

Акт первый, сцена вторая, Модест выходит, Аркадий входит, Митрофан в сторону, Аркадий — Митрофану.

Charmant, charmant!

Глупый шут, читает и сам смеется и на всех поглядывает, хихикают ли тоже.

Тургенев, как благовоспитанный человек, тоже улыбается и говорит: да, в этом лице есть задатки.

Неправда!

Как вы смели, как вы смели приглашать меня слушать такую гадость.

Я знал, что будет вздор, но что вы позволите себе подлость, подлость, подлость.

Михаил Евграфович, я, но, Михаил Евграфович.

Да, да, граф Соллогуб, вы не отличаете, что подло, а что не подло, да.

А вы, Иван Сергеевич, это ваша вина, это вы выдумали это словечко, а теперь каждый идиот, каждый мерзавец, вы слышали, что он здесь читал, нигилист-вор, комедия о нигилисте-воре, подлость, подлость, подлость, меня пригласили на такую подлость.

Михаил Евграфович, я извиняюсь, я не думал, я это сожгу, хотите сейчас сожгу.

Стыдно, стыдно, в вашем возрасте, стыдно, он не думал, что оскорбит меня, думал, что мне удовольствие доставит, стыдно.

Михаил Евграфович.

Воды.

Надо ему расстегнуть воротничок.

Я это сожгу, простите меня, ах, умоляю, не сердитесь на меня, поцелуйте меня в знак того, что уже не сердитесь.

Извините, граф, мне кажется, я немного вспылал.

Ницца воняет.

Ницца жалкая.

Ницца мне совсем не помогает.

В апельсиновой Ницце подышаю как в петербургской берлоге, среди запаха человеческих экскрементов (предусмотрительные арендаторы поливают ими сады) и гама отечественной сволочи (она заполонила все приморские виллы, на награбленные в России деньги покупает солнце Франции и французские упоительные ночи), не выхожу на солнце, не сплю по ночам, с изболевшимся сердцем и распухшими руками подышаю в апельсиновой Ницце.

Из Петербурга телеграфировал Унковский о новом необыкновенном средстве от ревматизма.

Оно называется *acidum sallicilicum*.

Доктор Боткин первым испробовал его в своей клинике.

Один пациент через четыре часа встал и пошел домой.

Возьми одр свой, и иди.

Доктор Реберг, я тоже хочу взять одр свой, и пойти.

Семь грамм в течение семи часов и ничего, только звон в ушах и пот стекает ручьями.

Ты что-то мне сказала?

Я глух, как пень.

Глу-у-у-у-у.

Не слышу собственного голоса.

Только воюющие волны бьют в перепонки, сейчас прорвут их, зальют мозг, волны, нет — вьюга, перед глазами клубящийся снег; оглушенный, шатаюсь, *acidum sallicilicum*, чудесное лекарство, шатаюсь под его мощными ударами и падаю.

Выламывают руки назад, пишите, Салтыков, монокль в глаз и из глаза.

Ваше Величество, снова в Вятку?

За неблагонадежные мысли, за жареных рябцов, за Нечаева, к судьям повернувшегося спиной, за призывы свергнуть строй при помощи *acidum sallicilicum* действительный статский советник Салтыков Михаил Евграфович.

Пощады, пощады.

Волны в перепонках и мрак.

Наконец-то вы проснулись. Как самочувствие?

Рука.

Я шевелю рукой.

Не болит.

Поистине чудесное средство.

Я забыл вас предупредить, Михаил Евграфович, чтобы вы легли, принимая салицил.

## 50

Это не из того путешествия сон о двух мальчиках: о мальчике без штанов и мальчике в штанах, ни сон о разговоре правды со свиньей, ни новый мой приятель, Лорис-Меликов, ни приключение с Анненковым, под заглавием: старость.

За границу теперь почти каждый год; знаю, что до Вержболово — самовар, после Эйдкунена — сосиски; только сердце в пропасть всякий раз, когда приближаюсь к границе; с нашей стороны: что снова к чужим, подозрительно, ах, подозрительно, лучше возвращайся домой, пока мы добрые; с той стороны, когда возвращаюсь: а, наконец-то, третий месяц с наручниками ждем, а ну, живо, открой чемоданы; *ihr Toren, die ihr im Koffer sucht, hier werdet ihr nichts entdecken, die Kontrebande, die mit mir reist, die hab ich im Kopfe stecken*; но и в сердце, и в голове они читать умеют: нет спасения.

И хоть еще никогда — всякий раз то же самое.

Позже однако случается, что погружаюсь в сон; между Бромбергом и Берлином мне приснился такой сон: на улице немецкой деревни я встретил мальчика, лет может восьми, в штанах и башмаках.

Скажи, немецкий мальчик, спросил я, ты постоянно — в штанах?

Да нет, сударь, когда ложусь, снимаю.

А знаешь ли ты, мой мальчик, что существует страна, в которой.

Было бы очень жестоко с вашей стороны так шутить, господин.

Ввиду такой точки зрения немецкого мальчика, по манию волшебства (не надо забывать, что дело происходит в сновидении), тут же рядом появляется его русский сверстник в длинной покрытой грязью рубахе.

Между обоими мальчиками разыгрывается довольно длинный диалог, так что я лишь отрывки из него приведу.

Эй, колбаса, ты мне вот что скажи: правда ли что у вас яблоки и вишня по дорогам растут, и прохожие не рвут их?

Но кто же имеет право рвать плод, который не принадлежит ему.

У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали. У нас наемдись дядя Софрон мимо кружки с керосином шел — и тот весь выпил.

Но ведь он, наверно из-за этого болен сделался?

Разумеется, будешь болен, как на другой день при сходе спину взбондируют!

Ах, неужели у вас.

А ты думал глядят. Стой, чего испугался! Это нам которые из простого звания, под рубашку смотрят, а ведь ты... иностранец.

Ах, как мне вас жаль, как мне вас жаль!

Сами себя не жалеем, — стало быть, так нам и надо. Погоди, немец, будет и на нашей улице праздник.

Никогда у вас ни улицы, ни праздника не будет. Знаешь что, русский мальчик, остался бы ты у нас совсем. Право, через месяц сам будешь удивляться, как ты мог так жить, как до сих пор жил.

Еще чего, у нас дома занятнее.

Что же тут занятого?

Да, ты ждешь, что хлеб будет, — ан вместо того лебеда. А послезавтра — саранча. А потом выкупные подавай. Сказывай, немец, как бы ты тут выпутался.

Я полагаю, что вам без немцев не обойтись.

На-тка, выкуси. За грош чорту душу продали.

Мы за грош, а вы — так, задаром.

Это уже намного занятнее — задаром.

Тут крик меня разбудил: спасите! грабят! Это едущему в моем купе слуге Империи приснился сон, что чиновники делят башкирские земли, а его при этом дележе снова забыли. Мы подъезжали к Берлину.

Второй диалог приснился мне в парижской гостинице; кроме двух героинь свиньи и правды — некоторое участие принимала в нем еще и публика.

Правда ли сказывают на небе-де солнышко светит?

Правда, свинья.

Так ли, полно? По-моему, это все лжеучение.

Лжеучение, подхватывает публика, лжеучение.

А правда ли, будто свобода-де есть драгоценнейшее достояние человеческих обществ?

Правда, свинья.

А по-моему, так и без того у нас свободы по горло. Хочу — рылом в корыто уткнусь, хочу — в навозе кувыркаюсь, какой еще свободы нужно! Изменники вы, как я на вас погляжу.

Изменники, гогочет публика, марш в участок!

Зачем отводить в участок, я своими средствами. (Хватает правду за икру.) А правда ли, сказывала ты, что для всех один закон писан? Об каких это законах ты говорила? Признайся, что ты имеешь в виду?

Правда корчится от боли и молчит.

Свинья пожирает правду.

Публика приходит в неистовство: любо! нажимай, свинья! Еще отзывается, распостылая!

Тут меня разбудила консьержка, что аж снизу мои стоны услышала.

Когда я ей сон рассказал, она вовсе не удивилась.

*Mais cela m'arrive tous les jours!*

Оказалось, что напротив помещался свиной рынок и туда каждую ночь привозили транспорты свиней, чей визг соответствующим образом действовал на воображение квартирантов.

Ну вот: абстрактный казался бы сон, а хрюкающая действительность у его таинственных истоков.

Эта молодая и нарядная дама, которой принадлежит весь Париж — цветочные магазины и дома моды, заискивание продавщиц и улыбки под усами уличных донжуанов, эта дама, которая в сопровождении зеркал-льстецов каждый день отправляется на штурм галантерейной Бастилии и неизменно возвращается с лаврами, и к тому же с добычей в нанятой колеснице — это моя жена, Елизавета, урожденная Болтина.

А этот старый господин, желчный и больной, которому принадлежат только его собственные страдания, повсюду те же самы — этот господин, что уже почти год скитается по заграницам, чтобы убежать — от чего? от боли? от предназначенной ему судьбы? от любезного отечества? — но убежать не умеет и остается с ними, среди шума самой чудесной столицы, среди дерзкого ритма канкана и свиста гаврошей — желчный и больной — а, ведь это я, кто же меня не узнает?

Плох ты, братец, ей-богу плох, айайай! как тебе не стыдно, братец, огорчать любящую семью?

Отойди прочь, Иуда, кровопийца!

С кем ты разговаривал, Мишель? Я так испугалась, какие-то голоса в коридоре слышала.

Тебе показалось.

Дорогой Николай Алексеевич, поощряемый вашим мнением о прошлой главе, принимаюсь за окончание Иудушки.

Не знаю точно, что получится, но представляю себе, что все вокруг поумирало и никто не хочет поселиться с Иудушкой, в ужасе перед наполняющей его гнилью.

Мишель, пришли газеты из России.

А, этот суворинский листок.

Как нам сообщили, князь Горчаков, канцлер Империи, находился в Баден-Бадене, куда в то же время привезли тяжело больного М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Когда больной начал поправляться и уже совершал прогулки в кресле на колесах, канцлер, который не был лично с ним знаком, подошел к сатирику, протянул ему руку

и сказал: „Да будет мне позволено как русскому выразить радость по поводу выздоровления выдающегося писателя и от всего сердца пожать ему руку”.

Свиньи, бесстыдные свиньи!

Снова статью вырезали из номера.

Радость по поводу выздоровления выдающегося.

За окном — веселые *cris de Paris*.

Чувствую себя в положении той проститутки, которая говорила: хорошо бы было пожить немного, как другие.

Я тоже хотел бы пожить, как другие.

Врачи нашли у меня четыре болезни неизлечимые, второстепенных не считая.

Николай Алексеевич, вы отравляете, кто знает, возможно, последние дни моей жизни.

Вы превосходно знаете, что мне причитается эта сумма.

Когда подумаю, что русское землячество должно будет объявить сбор пожертвований для возвращения моей семьи домой.

Прошу, отдайте эти деньги.

Впрочем, не могу принять на себя обязательство, что наверняка умру.

Если же не умру, прошу простить.

## 52

Некрасов умирает раньше меня.

Силился ускользнуть, Рим, Крым, потом уже только из одной комнаты в другую, с кровати в кресло, с кресла к стене, встает, становится на колени, ложится, снова встает, а боль за ним, а за болью смерть, и еще неразлучный спутник смерти: друзья, которые давно перестали быть друзьями, теперь же хотят исправить, отменить, стереть то, что их расорило, прибывший из Франции Тургенев протягивает руку (мне казалось, напишет впоследствии, что между нами встала высокая, тихая, белая женщина, и она-то соединила наши руки, и навсегда помирила), Достоевский, тяжело

дыша, с гримасой на бледных губах, поднимается по крутой лестнице (было мгновенье, напишет он, когда я понял этого загадочного человека, его сердце, раненное у порога жизни, и эта никогда не зажившая рана была, однако, началом и источником всей его страстной, мученической поэзии), и такие приходят, которые никогда не были друзьями, и не могли ими быть, лишь теперь им дозволено гордо встать в сиянии его бессильной славы, и такие, которые превыше всего хотят знать, скрупулезные исследователи, лишь бы успеть, это так важно — история, еще, Николай Алексеевич, один вопрос, а он всех принимает и заплетающимся языком что-то говорит, исповедуется в грешной жизни, желая обмануть и смягчить последнего цензора — смерть, последнего цензора, более снисходительного, чем он думает.

Облегчения, облегчения!

Нет облегчения от страданий.

Как большой осенний комар, еле шевелящий ногами.

Еще сочиняет стихи, обрывающиеся, мучительные, обрывки стихов.

Двести уж дней, двести ночей муки мои продолжаются; ночью и днем в сердце твоём стоны мои отзываются. Двести уж дней, двести ночей! Темные зимние дни, ясные зимние ночи... Зина! Закрой утомленные очи! Зина, усни!

Зина не засыпает, бдит с глазами, устремленными в колеблющуюся свечу, ревнивая к привилегии страдать вместе с ним, которую вырвать у нее хочет та, вторая, Анна, сестра умирающего.

Анна избегает смотреть на нее, приبلудницу, любовницу, для позорных утех сюда приведенную, ложе наслаждений превратилось в ложе страданий, так чего ей тут еще надо, пусть уйдет, откуда пришла.

Не уйдет.

Она его любит, она одна действительно его любит.

Так они бодрствуют и при каждом стоне вскакивают обе, скорей, скорей, которая первая подбежит к постели, помощь окажет.

Священника.

Как это, уже, уже.

Еще нет.

Рыжий поп в суматохе бормочет: и раб Божий Николай, эпитрахилью вяжет исхудалую, трупную руку жениха и трепещущую, прозрачную невесты, после чего с головой в плечах трусцой выскальзывает из спальни.

Я свидетель этой церемонии.

Анна отводит взгляд.

Колеблются свечи.

Коленопреклоненная Зина целует свисающую с кровати руку.

Некрасов что-то говорит.

Я наклоняюсь, чтобы лучше понять его.

Шампанского.

Шампанского выпейте на моей свадьбе.

Мы пьем шампанское.

Зина давится и плачет.

У нее темное стянутое лицо старой крестьянки.

## 53

Среди других известный писатель г. Достоевский, а также от имени учащейся молодежи г. Плеханов.

Груда смерзшейся земли на гроб, цветы, речи, сегодня мы хороним поэта, возможно, равного Пушкину, большего, большего, снег валит все гуще, засыпая цветы и гроб, равного — я сказал, в карты мог трое суток без перерыва, неугомонный Некрасов, почтим покойного приятным для него образом.

С Новым годом, с новым счастьем.

Имею честь покорно просить Главное Управление по Делах Печати об утверждении меня на посту ответственного редактора, действительный статский советник.

А когда он писал, чуть ли не в судорогах метался по дивану.

Я его знал лучше других и знаю, что в своей поразительной жизни он сделал больше хорошего, чем плохого.

Фальши я в нем не видел.

Жил в ярме и умер в ярме.

За месяц до смерти цензура конфисковала его самую замечательную поэму.

Поэму о крепостничестве, столько лет после отмены крепостного права.

Через месяц после его смерти цензура не пропустила последние стихи.

Конфисковала память о страдающем сердце.

Только гиенам дозволено лаять о его падениях.

Предсмертные признания, записанные нашим, продолжение следует.

Все остальное засыпал снег.

Продолжения не последует.

Михаил Евграфович, поздравляю с утверждением на посту.

Премного благодарен.

В передних цензуры жду решения о задержанных произведениях.

Из кабинета доносится однообразное жужжание.

Дураки вашу статью читают, бросает проходя какой-то доброжслательный цензор.

А стихи?

Пожимает плечами и исчезает.

Наконец появляется Самый главный: надутый, грозный.

Вы слышали? Девушка в генерала Трепова стреляла.

Да?

Вы себе, господа, пишете, а потом.

Некрасов уже ничего не напишет.

Кто знает, кто знает.

Но номер надо заполнить каким-то мусором из запаса.

С Новым годом, дрожайшие читатели, с новым, поистине, счастьем.

Стало быть не из того путешествия, но из более позднего, мой приятель Лорис-Меликов.

И не тот, ворочающий государством: изгнанник, лишенный власти.

Очень милый человек.

Политики, лишенные власти — это самые милые люди под солнцем.

Рядом с нами поселился в Висбадене, детям носит сласти, а мне — новости.

При этом однако оглядывается: шесть шпииков, объясняет шопотом, за спиной несут службу.

Уже наверняка донесли, что я с вами встречаюсь.

Что, донесли? Восхитительно.

Но возможно это ради острой приправы; для ознобчика, о котором он тосковал; вот я, вчерашний диктатор России, пренебрегая опасностью, ныне с Салтыковым заговорами занимаюсь, сквозь строй иуд прохожу с поднятой головой; сановный ореол сменил на героический.

Впрочем, в самом деле, очень милый.

Только от его новостей мурашки по коже.

В Петербурге создана Священная дружина, с Великим Князем Владимиром во главе.

При свете дня, в звоне шпор, в речей прокурорском пафосе — революцию не обуздают; с кинжалом и петлей сходят в подполье; в темноте будут наносить удары, наемного убийцы татуированной рукой.

Но, граф.

Железнодорожный чиновник Витте на подлом замысле сделал карьеру.

За границей у них тоже есть агенты и жертвы уже рассмотрены.

Je vous attends au pied des Alpes — Рошфору наемный дуэлянт.

Ибо французский журналист осудил экзекуции в России; уговорил Виктора Гюго написать воззвание; получит за свое.

Но граф, надо.

Именно для этого, Михаил Евграфович.

Может совсем не для этого.

Может хочет выведать мои контакты, а когда снова придет к власти.

Дорогой доктор (в Швейцарию пишу, адресат: Белоголовый), вы, кажется, не уделили надлежащего внимания моему предыдущему письму.

Я бы не возвращался к этому делу, если бы.

Надо что-то предпринять.

Если бы можно было предостеречь Рошфора и Кропоткина.

Может тревогу поднять в европейской печати.

Лишь бы не догадались об источниках.

Не скрываю, боюсь.

Но если не предотвратить замышляемые убийства.

Когда все разъезжаются, на курорте — тишина.

Лорис-Меликов поехал дальше, а шесть косолапых теней за ним.

Уже и нам скоро в путь.

Вы читали эту английскую газету?

Не знаю языка.

Тут пишут, что в Петербурге.

Для меня вечер уже слишком холоден, очень прошу извинить меня, господа.

## 55

Под заглавием: старость.

Я очень благодарен и рад, дорогой Павел Васильевич, что вы решили навестить меня в Висбадене, потому что я двинуться отсюда не могу, а повидать вас это для меня.

Павел Васильевич!

Кого вы там ищете на той стороне улицы?

На мой балкон обращает блуждающий взгляд: искал вас в девятом номере, но вы там не живете.

Я же писал, что живу в восьмом. Ну, идите же.

Нет, нет, в девятом сказали, чтобы я спросил у священника.

Ну идите же, Павел Васильевич, мы уже два часа ждем.

А да, да, потому что слишком рано.

Что?

Я слишком рано вышел из поезда и вынужден был весь

остаток пути на извозчике, двенадцать марок содрал с меня этот негодяй.

Ну, так поднимайтесь наверх.

Нет, нет сперва к священнику, этак уж верней всего.

И повернувшись как заводная куколка, и волоча ноги, и сопя, взбирается вверх, в сторону, где солнечным сиянием бьют золотые луковицы церкви.

Забывая о собственной немощи, сбегая по лестнице, Анненкова догоняю: но, дорогой, что вы устраиваете! — и взяв под руку, поворачиваю к пансиону.

А бумаги Тургенева, стараюсь отвлечь его на ходу, те, что вам передала Виардо, в каком состоянии?

Он идет за мной, безвольный, погруженный в странное оцепенение, на вопрос о бумагах Тургенева не отвечает, только тяжело сопит, а на лестнице моего пансиона еще раз настойчиво: однако, если бы у попа спросить, я был бы уверенней.

## 56

Михайловский, а как вы думаете, может это и в самом деле — мы?

Что такое, Михаил Евграфович?

Ну — все.

Находящийся под следствием политический заключенный Боголюбов не снял шапки перед генерал-адъютантом Треповым, шефом петербургской полиции.

По приказу генерала арестанта высекли.

Двадцатилетняя Вера Засулич, которую в свое время продержали два года в крепости за связь с Нечаевым, после чего административно выслали, выстрелила в Трепова, промахнулась и была задержана.

Два прокурора, согласившиеся поддерживать обвинение при условии, что им можно будет публично осудить методы шефа полиции, были сняты с занимаемых постов.

Защитник обвиняемой посвятил значительную часть своей речи официально отмененному праву кнута.

Скамья присяжных признала Засулич невиновной.

Как вы думаете, Михайловский, это мы?

Что, Михаил Евграфович?

То, что Россия наконец осмелилась прошептать: хватит.

Хватит с нее кнута, плетки, розог, изболевшееся тело шестой части шара извивается от боли и отвращения, кулаки сжимаются от ненависти к вельможным палачам, уже хватит, хватит, пусть поймут, что хватит.

Девушка промахнулась, у двадцатилетней дрогнула рука, но если бы случилось иначе.

Михайловский гладит свою густую бороду.

Не подлежит сомнению, что роль передовой личности.

Оставьте, я смеюсь, снова ваши теории.

Я люблю этого серьезного юношу.

С согласия Елисеева, все продолжающего лечиться за границей, я, после смерти Некрасова, взял в нашу редакцию Михайловского в качестве третьего компаньона.

Он разумный и усидчивый, несколько аскетичный, напоминает тех из шестидесятых годов; но более мягкий, менее скорый к осуждению; хотя побочных соображений не знает и умеет, глядя прямо в глаза через профессорское пенсне, говорить, когда убежден в своей правоте, жестокие вещи; когда наш бывший сотрудник, Буренин, опубликовал на меня донос в продажной газетенке, Михайловский, с полнейшей невозмутимостью назвал его клопом; как он мог, изумлялся Анненков, конечно это справедливо, но как он мог так написать; в свою очередь Михайловский не понимал чему тот изумляется; раз справедливо, так чего тут рассуждать; впрочем с ним редко случаются подобные выходы; он охотней пребывает в сфере социологии, формулы прогресса продумывает, над сложной и простой кооперацией морщит высокий лоб.

Это не теории, Михаил Евграфович. В обществе, опирающемся на уродующее личностное разделение труда, борьба за индивидуальность.

А если эти ваши индивидуальности начнут пожирать друг друга. Разуваев это тоже индивидуальность.

Я люблю Михайловского, но вынужден ему противоречить; я его понимаю, но расстояние между нами с годами не уменьшается; старость ли это моя желчная и немощь затрудняет сближение; или его аскетизм; однажды он зашел ко мне, когда я как раз винтил с гостями; да нет, не осуждал, только не умел; это слишком сложно для меня, Михаил Евграфович; я понял — это не стоит труда; с тех пор он избегает навещать меня, все дела предпочитает улаживать в редакции; пусть так оно и будет, я не настаиваю.

Но по редакции то и дело снуют передовые личности, к нему по делам; статьи о крестьянской общине украшают почти что каждый номер; чахоточники в сапогах приходят за благословением, идут в народ, чтобы просвещать его и отведать постной похлебки; после чего выданные волостной полицией, возвращаются по этапу; в статьях нахожу новые нотки, из которых вижу — передовые личности будут стрелять; не успел я оглянуться, как наш журнал стал органом партии; партии, которая нажимает на курок.

Михайловский, вы думаете, что Россия может себе позволить эту гекатомбу?

Посылать цвет молодежи на каторгу и виселицу — не чрезмерная ли роскошь?

Вы сами говорили, Михаил Евграфович, что хватит с России смирения, следовательно.

Говорил, говорил, но мы, но я, что мы можем, и, наконец, кто нам дал право.

Вы, Михаил Евграфович, являетесь знаменем этих молодых людей.

Передовых личностей, не так ли?

Вы сами передовая личность.

Чересчур любезно, чересчур любезно, в самом деле.

А право нам дала история, идущая к.

Уже не Тверь.

Уже не Тверь, не медовые месяцы, не нежность, уже не

будет иначе; молчи, дура; хоть бы ты, наконец, умер.

Умру, не беспокойся, умру.

Дорогой доктор, она меня уже давно ненавидит, вы сами наблюдали в Висбадене, но с тех пор, как.

Я на тринадцать лет старше ее.

Я стар, болен и пишу желчные сказки, которых Лиза не любит.

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: зайнька! остановись, миленький! А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит: за то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запаса у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!

Лиза не любит.

Что за сказки: вечно там кто-то кого-то пожирает.

Лиза любит наряды, большой свет, красноречивых дамских угодников, которых я ненавижу.

Кто из них будет моим Дантесом?

Златоуст Танеев?

Все Танеевы дураки.

Этот не дурак, но зато — мерзавец.

Очень приятное исключение.

Я — дурак.

Как я мог гувернантку Танеевых, эту гиену, эту Зою Борисовну, эту сводню.

Пришла почта, ваше благородие.

Почта.

Ну да.

Салтыков, настоящим принимаем Вас в кавалеры светлейшего Ордена Рогоносцев.

Не вскрою, порву не распечатывая.

Должен открыть.

Мы, студенты Земледельческого и Лесного Института в Новой Александрии (люблинской губернии), просим Вас, Милостивый Государь, принять от нас пожелания скорого выздоровления, ибо здоровье Ваше, столь дорого нам и всей читающей молодежи.

Я ошибся, еще нет.

До следующей почты.

До следующего бинокля в театре, стука у дверей, дву-  
смысленной улыбки при проходе.

Убью его.

Нет, он меня убьет.

Нет, Лиза сама.

Убивает меня исподволь, но неотвратимо.

Может это не Танеев?

Может мой лицемерный приятель, жирный Лихачев.

Я видел, как проходя он коснулся рукой плеча Елизаветы.

Мне показалось.

Болят глаза и зрение все хуже.

Не пущу Лихачева на порог.

Ой!

Что там снова, черт побери!

Попугай выскочил из клетки и клюнул Зою Борисовну  
в губы.

В губы? Вот так штука!

Как вы можете смеяться, Михаил Евграфович!

У тебя нет сердца, Мишель.

У вас, у вас есть сердце.

У вас.

## 58

Утешения искать в истории.

Ведь знал же я эти светлые личности, для которых история служит только свидетельством неуклонного нарастания добра в мире; все более великолепным воплощением идеала.

Для этих людей идеалы были реальной самой реальности.

Они стояли у них перед глазами, их можно было осязать алчущими руками, и никакие уколы неумолимой действительности не в силах поколебать в них эту блаженную уверенность.

Это люди святые, но что общего с их историческими взлетами имеет обыкновенный, средний человек?

Сей герой относительного добра, относительного счастья и относительной правды, немного требует от жизни; мирится с тем, что возможно; за синоним счастья охотно признает удобство.

Его идеалы не слишком возвышенны, а в случае нужды он готов пойти на компромисс: только не добивайте до конца!

Понятно, для этого человека утешения, преподаваемые историей, не кажутся чересчур очевидными.

Он даже готов поверить в историческую победу добра, но процесс нарастания правды нередко кажется ему равносильным процессу сдирания кожи с живого организма.

Самоотверженность не в нравах среднего человека, да ведь она и не обязательна.

Оправдываясь, он не прочь сослаться на ненормальность самоотверженности вообще — и в принципе будет, пожалуй, прав.

И хоть ему можно возразить на это, что в ненормальной обстановке только ненормальные явления и могут быть нормальными — но ведь это уж порочный круг.

Средний человек не наделен ни будущим, ни прошедшим; он всеми своими помыслами прикован к настоящему и от него одного ждет охранной грамоты на среднее, не очень светлое, но и не чересчур мрачное существование.

Программа его скромна и имеет очень мало соприкосновения с блеском и полнотою исторических утешений.

А история, несмотря ни на что, существует.

Существует борьба добра со злом, правды с ложью.

Существует в этой борьбе добро и зло, правда и ложь живут одновременно и рядом.

Только правда никогда не кажется завершившейся, не может быть завершившейся, сама себя ищет и подчас ошибается.

А ложь, какой бы она ни была, попросту бьет — и удары ее без конца падают на среднего человека.

Есть поколения, которые не знали ничего, кроме этих ударов.

Что же тогда остается?

Искать утешения в истории.

## 59

Милостивый государь, возможно, что это с нашей стороны чрезмерная осторожность, прошу поверить для нас же самих невыразимо печальная, но при нынешнем состоянии славянского вопроса, наблюдая отношение к нему общества, особенно же настроение цензуры, мы не можем.

Ваши взгляды нам чрезвычайно близки, однако накануне интервенции и учитывая ту роль, которую правительство намерено тут сыграть, попытка опубликования повлекла бы несомненно.

Надеюсь, что вы захотите понять и простить.

Еще чего, даже не подумает!

Автор пишет и какое ему дело до наших страхов: он хочет печатать, раз написал — и кто тут мелочен? автор? редактор? публика?

Солдатскими портянками история затыкает нам рты.

Публика кричит ура в честь черногорцев и сербов, кондотьера Черняева называет Гарибальди; цыганский хор с чувством исполняет „Kde domov moj”; миссия по отношению к угнетенным славянам; ребята Черняева грабят белградские магазины; публицисты апеллируют к властям, чтобы они занялись проливами; на Шипке снег; мы очень, очень любим славян — особенно за пределами Империи; даже Елисейев, хоть в Париже новый цилиндр купил, не может удержаться и кричит: ура; четыре дня на побоище; вольноопределяющийся Гаршин, войной сделанный писателем; неосторожный поэт Жемчужников; а я.

Вы хитрец, Михаил Евграфович, градоначальника изобра-

зили, что развлекался изданием законов: настоящим возбранається делать пироги из грязи, глины и строительных материалов; а цензура пропустила намек.

Да ведь я его выдумал.

Выдумали, выдумали, а тут смотри — в самом деле губернаторам разрешили издавать законы; хитрец; вот вы и пропали — это взятка моя; время теперь военное, ничего не поделаешь.

В ознаменование победы — императорских милостей изобилие; даже нашей редакции старое предостережение сняли; начинается время надежд.

Государь, дай верному народу своему то, что ты даровал болгарам — с адресами к царю обращаются либералы.

Конституцию имеют в виду.

Царь не торопится.

Тайные союзы не верят в облегчение, на Государя охотятся; снова неудачный выстрел; поезд взлетел на воздух, однако не царский; наконец взрыв в столовой, но Александр уже отобедал.

Несмотря на это, облегчения наступят (несмотря на это, или же именно поэтому?); первый человек в государстве, Лорис-Меликов, вводит диктатуру сердца; главным образом в сладких речах (лисий хвост и волчья пасть, издевается Михайловский), но не только; распускается III Отделение (министерство внутренних дел примет на себя его функции); Дмитрий Толстой, мой товарищ по Лицею и министр общественного затемнения, остается не у дел; дают немного вздохнуть земствам и немного печати.

Поговаривают даже об упразднении цензуры; и что же я тогда буду делать; она как-никак сформировала мой язык; вместо слов-заменителей придется мне на старости лет искать настоящих?

Можно не опасаться, ах, можно не опасаться.

Лорис-Меликов редакторов созывает: что вы опять устраиваете?

Ради дешевой популярности общественное мнение будоражить?

Не позволю.

Может, вы бы соблаговолили, ваше превосходительство.

Не позволю. С такими идеями не только журналы издавать — в России жить не положено.

Конференция окончена.

Говорят, что он принужден так; твердолобые его подсиживают, так он, чтобы спасти либерализм, должен быть твердолобым.

Либеральные зайцы прядут ушами: может еще, кто знает.

Надежды цветут.

В такие минуты, убеждают цензоры, в такие минуты, Михаил Евграфович, такую статью. Когда готовится почти полная свобода. Кто знает, может через два месяца пропустим не моргнув глазом.

Первого марта 1881 года бледный юноша Рысаков бросает бомбу в испуганных коней. Царь выходит из кареты: спасен, благодаря Всевышнему! — Еще нет, Ваше Величество! — Гриневицкий распахивает полы шинели, вторая бомба с грохотом взрывается у царских ног.

Александр умирает.

Гриневицкий тоже.

Рысакова берут на муки.

В Государственном Совете обер-прокурор Синода, Победоносцев, о преступных ошибках рассуждает.

Это реформы убитого монарха были преступной ошибкой.

Новый царь, ученик Победоносцева, внимательно слушает.

Лорис-Меликов вынужден уйти.

Мой почтенный товарищ возвращается.

Не кротким гимназистам — всей России велит стоять на горохе.

На потеху черни: евреи.

На этот раз не студенты (хотя они все еще остаются под подозрением), не поляки (тоже мало хорошего): евреи всех бед причина.

Катков поощряет погромы.

Он снова величайшая сила; разговаривая с ним, Феоктистов присаживается на краешек кресла, чтобы вскочить первым,

когда тот встанет; в его губы всматривается, только: разумеется — вставляет; Феоктистов, Главного Управления по Печати всемогущий начальник.

В редакции поступает указание: об арестах ни гу-гу, чтобы не будоражить общественное мнение.

## 60

Вы написали очень забавный рассказ.

Да, очень забавный.

Может напишу еще более забавный, о паршивом.

Чернышевский или Петрашевский, все равно.

Среди снегов сидит беспрестанно день, день, день, а потом беспрестанно ночь, ночь, ночь.

А мимо него примиренные декабристы и петрашевцы в санях с колокольчиками проезжают на родину, „Боже, царя храни” веселенько с присвистом напевают.

И все ему говорят: стыдно, сударь, у нас царь такой добрый, а вы что!

Вопрос: проклял ли жизнь этот человек или остался он равнодушным ко всем надругательствам и продолжает жить той же работой, той же страстью, что и раньше.

Ведь у него нет ничего кроме этого.

Каждое утро возобновляет работу, думает, пишет, и каждый день становой пристав по приказанию начальства отнимает эту работу.

Но паршивый знает, что так должно быть.

До всех трагизмов он умом дошел и на собственное бессилие тоже не обижается.

Сидит в снежной клетке и делает свое.

Беспрестанно день, день, день, потом беспрестанно ночь, ночь, ночь.

И раз за разом колокольчики сквозь пургу: а вы не исправимы, как стыдно, сударь.

Забавная история, может быть когда-нибудь напишу ее.

Умирающий Некрасов каялся, что в юношеских произведениях он с чрезмерной горечью и беспощадностью писал о своем отце.

Отец был помещиком, крепостником, сын — поэтом, певцом свободы.

Но эту пропасть между отцом и сыном неужели ее прорыло только время?

Кем же иным мог быть этот отец?

Громя позорный закон, который сделал его таким, надо ли было также клеймить человека и отречься от него с презрением и гневом?

Некрасов сожалел, что так случилось.

А я?

Я ведь с не меньшей жестокостью собственную изобразил семью, высмеял праздных родственников, осудил братьев-хищников, в шутовской колпак нарядил отца и самой маменьке не спустил.

Но я не каюсь.

Иначе не могло быть.

Они принадлежали миру, который я не мог принять.

Помилуйте! шестьдесят рублей за девку? шутите, благодетель!

Их нынче по сорок рублей за штуку — сколько угодно.

Вы ее за вдовца за детного отдадите. Что мне девушку несчастной делать?

Пять рубликов так и быть прибавлю, но это последнее слово.

Хоть и дешевенько да для соседа сделаю. Если бы кто другой просил, никогда бы не продала.

Вот язык, которым изъяснялся тот мир.

Они принадлежали к нему.

Отцы и дети — это не те сентиментальные добряки и ранившие их чувства самоуверенные студенты, которых описал Тургенев.

Старые добряки нанесли студентам раны куда более жестокие.

Отцы и дети – это мы.

Они выросли в мерзости, руководствуясь ею с гордо поднятой головой и нас старались потянуть за собой, карамелькой и розгой приучить к рабству и к владению рабами.

Нас – которые возненавидели рабство.

Что с того, что время вырыло пропасть, раз зловещий облик времени носил черты наших самых близких.

Могли ли мы не отождествлять их со временем и, клеймя закон, щадить людей.

Каждый может простить каждому, только не дети родителям.

Некрасов знал об этом, но умирая забыл и сожалел о грехах.

Я не сожалею.

Моя память простирается далеко.

Моя память начинается с минуты, когда двухлетнего самое большее, стегают, засучив рубашку, розгой, а немка, гувернантка старших братьев, с криком „er ist doch zu klein“ бросается, чтобы защитить меня.

И другая минута – может впрочем более ранняя, чем та – когда в отцовском кабинете я сижу на коленях маменьки, мы пьем чай из одной чашки, маменька молода, красива и нежна со мной, так мне с ней уютно и благостно, и вдруг в эту идиллию врывается из-за окна чей-то нечеловеческий вой.

Охваченный ужасом, я скатываюсь на ковер, крепко зажимаю глаза и затыкаю уши, но еще слышу властный, резкий голос матери, совсем другой, чем тот, каким она только что дразнилась со мной: заберите эту девку куда-нибудь подальше, и всыпьте ей.

Эти два воспоминания – это начало всего.

И первое, когда били меня, менее мучительно – я его ощущал всего лишь как неприятность, не как обиду – чем второе, когда по приказу маменьки истязали девушку.

Иначе быть не могло, но разве поэтому я должен примириться с тем, что было?

У нас тоже есть дети.

Кто сможет догадаться, какие мы им наносим раны?

Известность мне принесла книга, лишенная формы.

После книги, для которой я нашел форму, ко мне вернулись спиной.

Иудушка понравился: так бывает.

Сам Гончаров похвалил в письме: я тоже знял одного такого, в конце крестьяне вспороли ему брюхо.

Мне очень приятно.

Теперь, продолжал он, буду ждать с нетерпением появления его особой книгой — это поможет читателю среди других ваших произведений, посвященных преходящим вопросам, выделить.

Читатель.

Если бы так, вместо бесплодной писанины, наплевать ему в глаза.

Надоело.

Нет, батенька, сиди, живую форму придумывай, чтобы дурака рассмешить, а проходимца не слишком задеть.

Затем — не понимают и не хотят читать.

Современная идиллия.

Эпиграф: Спите! Бог не спит за вас (из Жуковского).

Приключения двух приятелей (об одном пишу „я”), которые решили погодить.

Погодить, переждать, воздержаться, не попустительствовать; разве мы до сих пор попустительствовали? стало быть, надо воздержаться основательнее.

Милостивый государь, я благодарен за благосклонную рецензию, которая для меня тем ценнее ныне, когда большинство журналов.

Не понимаю только, почему рецензент назвал эту повесть циклом.

Современная идиллия является единым целым, основывающемся на одной идейной линии, которая.

Мои герои, руководимые инстинктом самосохранения, пришли к выводу, что исключительно преступные действия могут уберечь человека от подозрения в, и из этого и проистекают их поступки.

Произведение имеет и начало и конец, если же конец кажется необычным — на сцене появляется Стыд — то во всяком случае он не менее естественен, чем брак или монастырь, заканчивающие другие повести.

На сцене появляется Стыд.

Я и мой приятель не спрашивали себя, что такое Стыд, а только чувствовали присутствие его — и в нас самих, и вокруг нас. Стыд написан был на лицах наших, так что прохожие в изумлении вглядывались в нас.

Что было дальше? к какому мы пришли выводу? — пусть догадываются сами читатели. Говорят, что Стыд очищает людей, — и я охотно этому верю. Но когда мне говорят, что Стыд воспитывает и побеждает, — я оглядываюсь кругом, припоминаю те изолированные призывы Стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс Бесстыжества, а затем все-таки канули в вечность... и уклоняюсь от ответа.

И в самом деле, что это за конец.

Снова один Тургенев поймет или из вежливости сделает вид.

Пора уже перестать вертеть эту шарманку, которую никто не слушает.

## 63

Вдруг из старой книжки, наполовину забытой, возникают, не моего романа.

Очаровательная барышня, которой снилось будущее и лохматый медик, из тех новых людей, что в половине пятидесятых годов.

Вера Павловна?

Маленькая, седая старушка улыбается лучистыми морщинками.

Собственно — Мария Александровна, но если вы предпочитаете.

Чернышевский только сны выдумал, только изменил имена, все остальное из жизни, именно так было.

Но вы, Михаил Евграфович, не слишком благосклонно к нам относились.

Вера Павловна, я, что вы.

Вы смеялись над милыми нигилистками, резецирующими трупы не дрогнувшей рукой, и одновременно притоптывающими в танце: я под явором стояла, ху-ха.

Не помню, ей богу.

Тут звяканье по рюмке разговоры прерывает.

С седой бородкой клинышком, с рябым калмыцким лицом, встает тот героический медик, ныне России слава (не избранный, правда, в Академию и за материализм лишенный кафедры), милостивые государыни и господа, тсс, утихает лязг вилок, сам Сеченов произносит тост.

Милостивые государыни и господа, мы собрались на этот обед.

Тоже мне обед, мороженный судак, постыдились бы.

Чтобы почтить нашего знаменитого.

Ну, известное дело.

Наш юбиляр, Сергей Петрович Боткин, славится ведь, кроме прочих талантов, как несравненный диагност.

*Acidum sallicilicum.*

Однако, милостивые государыни и господа, среди нас находится и другой диагност, я бы сказал, не менее заслуженный, хоть и на несколько своеобразном поприще.

К чему он клонит.

Если рассматривать нынешнее общество, как организм, разъедаемый болезнями.

Диагност, о котором я говорю, проникновенный и искренний, часто вопреки легкомысленному пациенту.

Наверно провалюсь сквозь землю.

Я пью за здоровье писателя и великого диагноста России, Михаила Евгра.

Я должен встать, у меня кружится голова, все члены оцепенели, но встаю, кланяюсь, как дурак, во все стороны, они аплодируют и многозначительно пьют шампанское, кого тут только нет, оберполицмейстер Козлов, железнодорожный миллионер Поляков, за смертельные мои диа-

гнозы, вот так триумф литературы, и этих двое из книги Чернышевского.

Но именно в эту минуту изнутри, из глубины груди кверху, сначала слабым щекотанием, маленький сигнал, но я уже знаю, беспокойством к горлу, силюсь загнать обратно, сдерживать растущее, еще стою с бокалом в руке, когда вдруг взрывается, и бокал, и грудь вдребезги, не соберу, напрасно хватаюсь, расколота этим кашлем, что не хочет прекратиться, еще, еще и еще, ах, Мишель, постарайся сдержаться, молчи, между двумя взрывами, молчи, дура.

Вы были правы, профессор, нет ничего кроме тела. Они утверждают, что безнравственно, бредни, лицемерные бредни, нет ничего кроме тела.

Если быть точным, то я писал, что духовная жизнь всегда имеет чувственную подоплеку; каждый рефлекс является реакцией на импульс; вы помните, я это отдал Некрасову, но тогдашняя цензура.

Вы говорите: диагност.

Посмотрите на меня: тут уже ничего нет.

Мешок раздражения и боли.

Вы с супругой еще видите сны?

Хватает того, что работаем.

Я тоже работаю. Мои импульсы вы видели.

И снова изнутри, из глубины груди кверху.

Сквозь кашель: я давно не читал эту книгу.

## 64

Умру, не бойся, умру.

Нет, все еще живу.

Но и смерть не закрывает счета.

Когда умер Гоголь, за некролог в черной рамке старого Погодина посадили на гауптвахту.

Как же, кипятился в фельетоне Булгарин, о смерти Дмитриева, корифея, без, а об этом Гоголе.

Ни поступки, ни последние письма, те, что вслед за Белин-

ским мы так резко осуждали, ни сама его смерть – ничего не помирило начальство с малороссийским насмешником.

Молодой тогда Тургенев за эпитет: великий, употребленный в воспоминаниях о Гоголе, на месяц под арест, затем в деревню, под усиленный надзор полиции.

Останки старого Тургенева с почестями возвращаются в Россию, но нет, смерть не закрывает счета.

С почестями возвращаются, сам министр уже репетирует речь: знаменитый наш соотечественник, но прежде, чем поезд достигнет Петербурга, речь застрянет в горле сановника: знаменитый наш со, наш со, и министерский циркуляр подвергнет сомнению законность почестей.

Потому что в Париже эмигрант Лавров.

Скандал, ах, какой скандал.

О писателе воспоминания Лавров написал.

Что, и в Тургеневе – Нечаев?

Автор книжки об отцах и детях – строптивой детворе втайне содействовал, на динамит франки выкладывал из кошелька?

Рука Каткова, которая некогда в воздухе повисла, отвергнутая Тургеневым, теперь гордо поднята вверх.

Хахаха, знаменитый соотечественник был государственным преступником.

Так что окружным путем, потихоньку, с вокзала на кладбище.

Учащейся молодежи запрещено (как тогда: лицейский дортуар, снег за замерзшим окном и поэта останки на санях), литераторы по пропускам.

Петербургский магистрат выделяет кредиты на похороны.

Губернатор Грессер отменяет решение магистрата.

Магистрат протестует.

Государственный совет утверждает постановление Грессера.

Пусть монарх разрешит спор; но монарха нелегко разыскать; в страхе перед заговорщиками (возможно именно те, которых финансировал Тургенев, готовят покушение) каждый день меняет место своего пребывания, не допускает

к себе слуг самых верных; Александр III Трусливый; но кто знает, избежит ли он царской судьбы.

Любезно прошу выдать входные билеты для сотрудников нашего журнала, согласно списку, который.

Ласковость сентябрьского солнца, сыпучий песок на гроб, в глазах Успенского таится безумие, и в глазах Гаршина безумие, но безумие, как и смерть, тоже не закрывает счета.

Милостивый государь, спасите моего сына, тут его совсем не лечат, а лишь за решеткой держат, без карандаша, бумаги, газеты, чтобы больной, говорят, мозг не переутомлять, в полуденном солнце, за решеткой, весь день без дела, я проходила мимо, мама — закричал, но тут же два сторожа от решетки его оттянули, милостивый государь, если бы в Вену, там, говорят.

Это Гаршина мать, из молодых писателей самого талантливого.

Милостивая государыня, сумму, о которой вы просили, мы посылаем по вашему адресу, сердечно желая.

И что тут можно еще кроме денег и пожеланий?

Новодворский — второй, на которого я из молодого поколения рассчитывал — под Ниццей легкие выхаркивает.

Снова посылаю деньги и желаю.

Что, Бога ради, еще?

К похоронным комедиям молча присматриваться, когда труп вырывают друг у друга враги и друзья, плюют ему в закрытые глаза, за бороду тянут, или застывшую гримасу разглаживают, на льстивую улыбку меняют.

Все более пусто вокруг.

Пушкина у меня тоже украли.

Открывая памятник, Достоевский, с пророческим видом, произносит речь; после похорон Некрасова он вошел во вкус; вот Пушкин — указывает — к смирению и раскаянию призыв; правда не за морями, не в призрачных знаниях, но лишь в смирении твоей гордыни, человек; преодолешь гордыню и будешь свободен, и народам Слово откроешь; новое Слово евангельской гармонии; вот России участь и слава, вот гений Пушкина.

Западники во фраках и славянофилы сермяжные со слезами растроганности внимают; как же это мы до сих пор не догадались? и падают друг другу в объятия; аллилуя, брат; это Пушкин.

Но и Достоевский умирает; Плещеев, его старый товарищ по Плацу Семеновского Полка, ныне секретарь нашей редакции, взволнованный некролог пишет; черной рамки уже никто не запрещает.

Все более пусто вокруг.

Я все живу.

Когда наконец умру, верно тише будет над моим гробом, потому что кому Салтыков.

Разве что.

Разве что.

## 65

Его взяли, взяли!

Это уже второй; перед ним Михайловского, за речь молодежь подстрекающую, в Финляндию скалистую.

Его взяли! растрепанная, но живописно: ведь он не виновен! и так страдает, бедняга, так похудел в заключении!

Доигрался.

Что вы говорите, какой вы недобрый, уж и жандармы вежливее.

Ну так чего вы тогда расстраиваетесь, если вежливее.

В самом деле вежливее и про все знают, честное слово, Михаил Евграфович, я даже удивилась. Сто пятьдесят рублей, говорят, вы получили, Кривенко, в редакции в прошлую субботу.

В редакции? Они сказали: в редакции?

Все тоньше волосок, а на тонюсеньком.

Корреспондент Дэйли Ньюс сообщает об обыске, совершенном у лидера республиканской партии России, Салтыкова-Щедрина. Во время обыска домашние писателя, чтобы выиграть время, пели гимн в честь монарха. Не исключено, что

это дало возможность укрыть или уничтожить компрометирующие бумаги.

Милостивый государь, надеюсь, что вы опубликуете, истины ради, это опровержение, в котором.

Михаил Евграфович, вы на свободе?

Как видите.

И журнал еще выходит?

Еще выходит.

Принимая во внимание, что журнал, а одновременно с этим, наконец, в январском номере текущего года, министр внутренних дел, на основании параграфа и согласно с заключением, редактору, действительному статскому советнику — второе предостережение.

Закрывают (гласит положение) после третьего.

Уже бы, дают понять, но министр, принимая во внимание товарищеские отношения.

Стало быть: сентиментальный.

Эх, школа, школа, вздыхает по ночам, отроческие невинные годы.

В снежки играли с товарищами, а тут: внутренние дела.

Впрочем, сдохнет без запрещения.

Из года в год падает подписка.

Ну и осторожен наш милый читатель.

А разве я сам не осторожен?

Собственные сказки без апелляции отвергаю: ничего не поделаешь, Щедрин, вы литератор, вы должны это писать, но как редактор.

И так всегда пронюхают.

Лев, гм, лев, что вы собственно имели в виду.

Да это же второстепенный образ, абсолютно неважный.

Абсолютно неважный, гм; знаете что, лучше этот рассказ снять.

Хорошая новость, Михаил Евграфович; мужа только высылают, только высылают.

Очень хорошая новость.

Все более тонкий, а на.

Уже не спасу.

Может оду в честь Каткова написать.

Может отдать редакцию Карновичу, а самому укрыться в тени; кто такой Карнович?; это никто, именно поэтому.

Не спасу.

С поднятым знаменем ко дну.

Телеграмма из Москвы.

Медики последнего курса пьют здоровье Щедрина точка просят ответить.

Благодарю.

Еще из Гродно письмо, от госпожи Ожешко, три рассказа которой в переводе Сементковского я напечатал. Очень благодарна за это, однако еще больше, что по еврейскому вопросу я высказался согласно с ее взглядами.

Пересылаю вам также, милостивый государь, мою брошюру о евреях — последний плод моей издательской деятельности, которую я вынуждена была прекратить по независящим от меня причинам.

Сударыня, мы все — по независящим от нас причинам.

Третьего предостережения не дают.

## 66

Почему не кричат?

Где они все?

Пустыня.

Дорогой Павел Васильевич, благодарю за слова сочувствия, которые, искренне признаюсь, ценил бы еще более, если бы не спровоцировал сам.

Но мне приятно, что хоть ваш голос.

Нет, я не ожидал со стороны литературы публичного протеста.

Знаю, что это невозможно.

Однако, например, Островский, пьесы которого в течение пятнадцати лет подряд открывали январский номер.

Например, Толстой, который непосредственно перед закрытием расплывался в похвалах журналу.

Тургенев бы так не поступил.

Да, у него были свои недостатки.

Если бы он однако жил дольше, пусть бы даже больше ничего не писал, само его присутствие.

Пустыня.

Зарывают живьем и никто не выдавит из себя: жаль, никто не придет, чтобы молча пожать руку.

Михаил Евграфович, пришла депутация студентов.

С ума сошли.

Чего вы от меня хотите? Вам мало, что закрыли журнал? Скажите, вам этого мало? Хотите, чтобы меня — на каторгу? Этого вы хотите? Ну, говорите же.

Подождите.

Куда вы.

Подождите, поговорим.

Сразу уж обижаются.

Лиза, вели поставить самовар — видишь, у меня гости.

Ну так рассказывайте: как там у вас, у трупорезов.

Земляков моих, из тверской губернии, нет среди вас?

Давно я там не был.

Знаете, стоял в местном музее мой бюст — и вот так история: стоял-стоял и вдруг его куда-то вынесли, рвение проявили.

А раньше: наш почтенный земляк, честь нам приносит, ха-ха.

Теперь что приношу?

Редакторы (еще существуют редакторы) переходят на другую сторону, чтобы я за пуговицу не поймал и не спросил: у меня есть сказочка, может сгодится.

Сам знаю, что не сгодится.

Одеревяневший мир; время, как опилки, и люди из дерева.

Мишель, встань, господин Краевский спрашивает тебя.

Как я могу встать, когда меня нет.

То, что лежит, как спиленное бревно, — это я?

Краевский (слезящимися глазками моргает, песок из него сыпется, фиолетовые руки потирает), это наверняка он: деньги, бормочет он с упреком, мои деньги.

Этими же руками из Белинского выжимал соки, шарил в карманах Некрасова; столько лет хороший барыш получал с нашего гнева, и вдруг: ах, Михаил Евграфович, вы лишили меня дохода, разве это по-христиански.

В гроб хотите взять.

Сразу уж в гроб, еще думаю немножко пожить.

Все думают пожить.

Мир из мелочей; мир раздробленный и пустой; люди — какие-то пестрые; каждый сам по себе; страх и мелочность, и предательство; мне казалось, что существует нечто, что наполняет и сплачивает; помните о своих детях, убеждал я; на потомков смотрите, то есть на историю; на глазах мир распался, остались мелочи, только мелочи.

Все нити обрываются — и каждая подло.

Лучшим периодом моей жизни была Вятка.

Ариадна меня любила; я не умел так любить, хотя питал к ней нежность и восхищался ею; трудно ведь на почтовой станции, нетерпеливо ожидая, пока сменят лошадей; но я сохранил в памяти то тепло, которое она мне дала; с годами я помнил его даже больше и жалел, что так легко от него отказался; в моих ушах звучал ее приглушенный голос, почти шопот: вы очень грустный и злой? но раз вы пишете, это значит; милая, милая Ариадна.

Все нити обрываются подло.

Этот жандармский генерал с одутловатым лицом — ведь это сорванец Коля, сын вятского губернатора и моей Ариадны; через брата Дмитрия я помог устроить его учиться; эту единственную услугу, уже после всего, она согласилась принять от меня; господин генерал ничего об этом не знает; я ему не скажу.

Из лица острые глаза выдвигает: прошу сообщить, откуда подпольная типография располагала текстом ваших сказок, запрещенных властями.

Молчу; глупый мальчик, на мне хочешь сделать карьеру, я тебе в этом не помогу; смотрю в глаза и молчу.

Прошу дать показания, каким образом попали к издателю-эмигранту.

Молчу.

Я относился к вам, как к свидетелю, но ввиду неразумного упрямства.

Я встаю.

Честь имею, генерал Середа.

Дверь закрываю осторожно, чтобы не хлопнула.

Это спокойствие, которое меня вдруг охватило, — горькое; но все же это спокойствие; через пустыню возвращаюсь домой; буду писать; воскрешу тот мир, что породил нас и выкормил; он всему причиной; пошехонская старина будет моей последней книгой; успею ли?; мир этот вижу таким ярким и острым, как никогда раньше; его боль спокойна, потому что я ее понял; таким образом от нынешних, более мучительных, в эту хочу убежать?; нет, не убежать — лишь отступить; она их породила; она достаточно боль, чтобы я в ней чувствовал себя как дома; и она достаточно — покой и понимание, чтобы я сумел.

Но прежде, чем возьму в пальцы перо, — снова лежу, как бревно.

Эта пустыня.

На этой пустыне.

Никто, никто не крикнет?

## 67

Гаршин, на тридцать лет моложе, с поля брани вернувшись, в петербургских салонах вдруг бледнел и раздувал ноздри; трупный смрад преследовал его и красное солнце светило в глаза.

Когда Млодецкий после неудачного выстрела в диктатора ждал исполнения приговора, Гаршин ворвался в спальню Лориса: кровь! — рыдал он — снова кровь! на колени пал перед ежившимся в ночной рубахе: довольно крови! ваше высокопревосходительство, вы ведь сами там были!

Великодушный Лорис-Меликов не приказал его арестовать, но покушавшегося не помиловал.

От смрада и солнца побоища, от крови, заливающей зрачки, бедный Гаршин скрывался в безумие.

Через десять лет после возвращения с войны не достало ему уже убежища: через перила в пролет лестницы руки вытягивая как пловец, вниз бросается, навстречу неизбежной.

Мы тоже с побоища.

Все удивляются нашим навязчивым идеям и годами тянущимся счетам.

Те, что пережили войну, уколотые ее скользким лезвием и сами коловшие, никогда до конца не изведают покоя.

Каторжники, дождавшиеся помилования, никогда не освободятся от железного ядра у ноги.

Мы, выросшие при Николае, дети крепостного ада, порогов рая не перешагнем; в пении серафимов нам послышатся крестьянские стоны: Эдем ли это, усомнимся мы, или декорация; поистине декорация, мы в этом знаем толк.

Сколько картин прошлого проходит перед глазами.

Во дворе у тетеньки эта двенадцатилетняя девочка, за проявленную неловкость привязанная к столбу, вбитому в навоз; тучи мух облепили ее лицо, мокрое от слез, истерзанное, уже покрытое гноящимися ранками; я хотел броситься к ней, развязать веревки; не тронь, барин миленький, тетенька забранит, хуже будет, не тронь.

Или старый наш повар, за недостаточно сочное жаркое за обедом, рядом с отцовским креслом стоявший на коленях.

Но не всегда наказания — и дворянские шутки помню; Ванька, поди лизни печку; а печка раскалена; Ванька лизал; господа надрывались от смеха.

Попа тоже Ванькой звали; он был крепостным, в часы свободные от службы, за сохой шагал; богослужение же мой отец, в богословии сведущий, прерывал: Ванька, насмеялся, снова ты спутал, начинай сначала!

Впрочем возможно в нашем имении и меньше было издевательств, чем у соседей.

Ведь дело шло не об отдельных случаях большего или меньшего зверства; эта система охватывала миллионы людей, в ней одни имели право надругаться над другими, при-

нуждать их к тяжелейшему труду, и плоды его присваивать и проматывать; людей продавали и дарили; отдавали в армию, торгуя потом рекрутскими квитанциями; соединяли супружеские пары согласно с хозяйственной выгодой, а не видя ее — запрещали брак; и за всем этим не возникало никакой моральной проблемы; эту систему превосходно мирили и с религией, и с честью сословия, и с изысканными манерами; дело касалось прибыли, и ее выжимали, откуда только можно было; даже косы дворовых девушек продавали парикмахерам; дело касалось прибыли, а причитания битых в ушах господ звучали так же, как хруст ручных жерновов или щелканье серпов, — эти обычные звуки сельских работ.

Поколение отцов сошло в могилу, так и не поняв, что жило в мире злодеяний.

Мы же ощущали смрад побоища и железное ядро у ноги.

Тот вой поротой девки, который я услышал маленьким ребенком, так и не покинул меня.

Я долго не понимал сущности своего беспокойства; это еще не был бунт против закона, который отдавал девушку на милость или немилость маменьки; вырастая в этом законе, я не представлял себе других отношений между людьми, чем отношения крепостного и хозяина; но беспокойство зародилось во мне и отняло безмятежность у моего детства.

Крепостной живописец Павел научил меня грамоте.

Мне еще не было восьми лет, когда я взялся за Евангелие.

Прежде всего меня поразили не столько новые мысли, сколько звучание незнакомых слов.

И только повторное чтение, все более и более страстное чтение, сняло вдруг темную завесу с того мира, который слова эти указывали и осуждали.

Евангелие совершило переворот в моем сознании.

Моим безотчетным беспокойствам оно придало форму и прочность и противопоставило тому, что я знал до сих пор, что меня окружало и держало в неволе; в глину оно посеяло совесть.

Из детских глубин вырвало общечеловеческое сознание.

И это право на сознание я начал переносить на других.

Но мой взгляд не умел сокрушить навязанных людям условий; и дальше — один продолжал быть господином, а другой — рабом; от этого было больно; теперь боль становилась бунтом.

И в них самих я искал бунта; он был редким и бесильным; еле успев затлеть, погибал запоротый на гумне; чаще же всего сам выбирал смерть.

Помню это хрупкое создание, бывшее свободным, и добровольно закрестившееся, выйдя замуж по любви за моего ментора, Павла.

Любовь прошла, ярмо осталось; и женщине вдруг стало ясно, что, отказавшись от воли, она в то же время грешным образом оскорбила свое с Богом подобие и навлекла на себя божье проклятие; несчастная начала борьбу за искупление; не выйдет она более на барщину; выйдешь, мерзавка, потому что ты такая же крепостная, как и прочие; вольной родилась, вольною и умру; высеченная, она начала голодовку; наконец осенней ночью повесилась; похоронили самоубийцу в болоте.

Мне ее память дороже других, потому что, как и я, не покорности училась она в Евангелии, а человеческому достоинству.

Когда я встретил Петрашевского, он спросил про мою веру в Бога.

Я уже тогда бесповоротно терял ее; но то, что я ребенком почерпнул из Писания, стало фундаментом моих будущих верований; и сохранилось вместе с тем воем, который стоит у меня в ушах.

Я принадлежал к классу господ.

Но господская семья была точно таким же местом пыток, как и все вокруг; так же как всем, ею управляло корыстолюбие, фальшь и неволя.

Авторитет маменьки основывался на ее благоприобретениях.

Отец не любил мать и боялся ее.

В письмах он однако гремел: бессовестный сын, нежность и смирение ты обязан проявлять в отношении к благодетельнице нашей, которая своим радением семейные увеличивает владения.

Когда она вышла за отца, он всего лишь тремя стами душ владел; умирая, имел три тысячи; точнее говоря, она их имела.

В чувствительные минуты она охотно говорила о проведенных кампаниях, направленных на расширение вотчины, о хитроумных усилиях, об удачных торгах, о стратегии и тяжелом труде благоприобретения: уже думала, он, прощельга, поднимет цену, но словно видела Заступница мои слезы — когда я свою цену назвала, так словно вот весь аукцион перерезала. Шесть недель я потом в горячке провалялась.

Молодец маменька, восхищались мы хором, брат же Дмитрий, глаза поднимая горе, добавлял: за это мы ее и любим и вечно будем ей благодарны.

Но бывали минуты раздражения, когда она вдруг начинала упрекать нас: чего это вы так глазееете? смерти матери не дождетесь? чтобы спустить все, что она хребтом да потом, да кровью нажила?

Живи для нас, маменька дорогая, долго, отвечал не отрывая от нее глаз брат Дмитрий.

Да, ты добрый мальчик, прижимала его к лону, но за них не ручайся, ибо впоследствии раскаешься.

Говоря честно, нам в детской случалось обсуждать вопрос наследства; мы пытались угадать, кому что достанется; сестры бывало даже плакали, если раздел вырисовывался не в соответствии с их желаниями; однако все быстро соглашались с тем, что брату Дмитрию лучшие земли достанутся.

Он не участвовал в этих спорах: я всем буду доволен, что милость маменька назначит мне.

Он знал, что не прогадает: при каждой трапезе она проявляла свою справедливость, куски посвежее и побольше любимцам выбирала, постылым от рта отнимая.

Разделение на любимчиков и постылых, через все наше детство проходящее, не остановилось на его рубежах, но еще много лет спустя собирало отравленные плоды, натравливая братьев и сестер друг на друга, подавляя в развращенных душах остатки родственных чувств.

Главный любимчик, Дмитрий, без зазрения совести пустил братьев и сестер с сумой.

Самым постылым был брат Николай.

Не забуду маменьку, стоящую над ним, как Немезида: убить тебя надо! вот, увидишь, убью и отвечать не буду! и сам царь мне за это ничего не сделает!

Потому что он был голоден и стащил на кухне пирог.

Всегда дело шло о каком-нибудь пироге.

И убила его в конце концов: устав от преследований, с ополчением пошел на Крымскую войну; вернулся больным и со стиснутыми зубами умер в чужом доме.

Сергей, тоже постылый, немного позже на смерть спился.

Я сначала был в любимцах; сходство с собой в моих чертах и движениях она находила; и ее трогала влюбленность ребенка в ее красоту и силу; когда же я начал отдаляться, она, должно быть, страдала; пока не вооружил ее против себя окончательно тем упорством, с которым против ее воли литературные предпринимал попытки; ты ведь как волк, который мать и отца кусает; вот и живи по-волчьи, и нет тебе моего благословения, из постылых самый постылый.

Если я и был волком, то таким, который чудом вырвался из капкана и полшкуры в нем оставил.

Костя, Лиза, я хотел вам объяснить, рассказать вам хотел.

Мою жизнь, слабостей и ошибок полную, но ведь не только, но ведь кроме этого.

Я хотел им объяснить.

Моих детей это не интересует.

Лиза не глупа, но мамочка по своему образу и подобию воспитывает дочку.

Как из журнала: плиссированная юбка и в изящно изогнутой ручке палочка от серсо.

Ее комнату увешала зеркалами: ах, Мишель, ребенок красивый, пусть иногда посмотрит на себя, что тут такого?

Идиотка.

А Костя бездарный и лентяй.

Из одной гимназии его выгнали, из другой я сам забрал его.

Теперь он должен держать в Лицей, но книг в руки не берет, все время только знакомые, развлечения.

Афоризмы такие произносит, что аж страшно делается.

Про карьеру, протекцию; где он этого набрался?

Мой сын.

Любимова какого-то привел, в студенческой фуражке, с лицом словно рубленый шницель.

— Может вы бы дали что-нибудь почитать? Знаете, из этакого — и подмигивает.

Костя, что это опять за дружба?

Пожимает плечами.

Сынок, пойми, что кругом.

Машет рукой: папочка воображает, что власти только и следят, что еще он выдумал в своем кресле. Так боятся козней Михаила Евграфовича. А между тем ничего подобного. Власти знают, что он ни ручками, ни ножками. И никакие шпики тут не нужны.

Заперло дыхание: сыночек, что ты?

Щурит кошачьи глаза: папочка не расслышал?

Рывок и — как это случилось? Боже!

Костя, прости, сыночек, ведь я никогда, что за позор, до чего ты меня довел, но это моя вина, я так вспыллил!

Подумаешь, из-за ерунды столько шума, папочка больной и не владеет собой, но мне не больно, папочка слишком слаб, чтобы меня обидеть.

Задом отступает из кабинета.

Сыночек, погоди, я хотел тебе объяснить!

Я хотел им объяснить.

Ему, Лизе, хотел, хотел бы, объяснить, мои дети, я хотел им объяснить.

А вы все о минувшем, еще долго так будете.

Ибо я сам видимо минувший.

Ведь уже четверть века истекает, как.

Но не оно умирает: это я умираю.

Волк в капкане; волк против стаи; волк, воющий на льдине; пока не настигли, не вгрызлись в бока; и с этим воем в ушах, что всегда, на сгибающихся лапах; странный волк, волчий ренегат; таким не прощают.

А вы все о минувшем, еще долго так.

Может уже недолго.

Этот вой стоял у меня в ушах, когда я, уже вне матриархальной тирании, связанный с ней еще притворным смирением переписки, но не всякий ее приказ уважая, вел жизнь самостоятельную в мире более обширном, чем родовая вотчина, но странно на нее похожем.

В ссылке он словно немного утих; потому ли, что я вслушивался в стоны собственной своей недоли; или по причинам более объективным, потому что под Вяткой было мало крестьян, принадлежащих дворянству, а главным образом — казне, да, и они были терзаемы великим помещиком — Империей, однако, несмотря ни на что, не так, как более мелкими владельцами рабских душ.

С новой силой он раздался в Рязани и Твери; это были годы освобождения, но крестьянский вой не утихал; я метался, подстегиваемый им, как лошадь ударами ямщика; я принадлежал к осуществлявшим власть, мне казалось, что я могу что-то сделать, ничего не мог.

Начинал следствия, рапорты писал в министерство, отдавал виновных под суд; редко случалось, чтобы я чего-нибудь добился; вой не утихал.

В 1859 году в одном из уездных городков рязанской губернии процветала фабрика братьев Хлудовых.

Начали братья от окрестных помещиков крестьян оптом скупать.

Что, за два года до освобождения?

Операция была довольно хитроумная.

Крестьянам и дворовым людям, тайно от них, давалась „вольная”, и затем, тоже без их ведома, от имени каждого, в качестве уже вольноотпущенного, заключался долгосрочный контракт с фабрикантом.

Для помещиков операция была несомненно выгодна: земля, которой они должны были через несколько лет наделить бывших крепостных, оставалась при них, и к тому же они получали деньги за души, которых все равно должны были вскоре лишиться.

Но и фабриканты не лыком шиты: надвигающуюся конъюнктуру они встречали, обеспечив себя дешевой рабочей силой; и покорной — ибо она не знала, что свободна.

Завыл крестьянин, когда в конце концов узнал правду.

Пережевывали дело суды продажные; братья Хлудовы опять что-то подбавили, верно из рубрики: издержки производства.

Да, это были уже новые времена: не обычное крепостное кровопийство; основывались основы нового порядка вещей.

Тот красноречивый немец, с которым переписывается Анненков, назвал это первоначальным накоплением.

Разуваев, новый хозяин России, черные лапы тянул к добыче.

Рабы меняли хозяина.

Стоит в ушах, хоть столько лет уже прошло, и эпоха уже как будто иная; в самом деле, иная; не как свет звезды, фальшивый и равнодушный, когда она уже умерла, достигающий цели; дерево, в меня корнями вросшее; собственной крови болезненный зов, с которым расстаться невозможно.

Мишель.

Я тебя прошу, я так тебя прошу, ведь это же не повредит. Придет и помолится, и все.

А ведь в очень многих случаях это помогало.

Я тебя прошу, Мишель.

Высокий, с глазами дрессировщика (в берлинском цирке помню пылающий обруч, через который, ошетилив гривы, испуганные львы), в атласном стихаре, переливающимся и шелестящем (прекрасный атлас, но не перепрыгну, нет, не перепрыгну), на столике инструменты свои раскладывает: Священное Писание, крест и чудотворную икону, где-то надо мной взглядом по стене блуждает, видно, Бога ищет, чтобы с Ним вступить в переговоры.

Бог с тобой, сын мой; со мной Бог, ой-ли, отче?; страдаешь, сын мой; сделай свое дело, отец, и оставь меня.

Сначала шопотом, потом все громче бормочет, наконец криком рядится со своим Богом; зачем это?; а, это обо мне, чтобы я еще немножко пожил; но я через этот обруч — нет, тщетные усилия, отец.

От чашечки чая, надеюсь, отец, не откажется?; кивает бородой, ступает величественно, за ним — бабище надутое, что исцелителя возит и за чудеса гонорар принимает, а за бабищем — взволнованные домашние; но вдруг — переполох; это профессор Боткин приехал, что за конфуз.

Нет, почему-же, мы ведь знакомы с отцом Иоанном, неправда ли?

Мы, если так можно сказать, коллеги.

Только я лечу брэнное тело, а отец — душу.

Ну, видишь, Мишель, даже Сергей Петрович признает.

Душу.

У меня нет души.

Только несчастное тело.

Гриву ошетилив, с закрытыми глазами, через этот пылающий обруч.

Уже не перепрыгну.

Осталось выполнить еще одну обязанность; от имени Прогорелова, некогда короля жизни, а ныне пропадающего человека, приветствовать приближающуюся новую силу — Разуваева.

Так гряди же с миром, хищная морда; и вы, цепкие лапы, тоже грядите!

Вся цивилизованная природа дрожит в сладостном ожидании.

Дома терпимости румянят дряблые щеки, оркестр настраивает балалайки, фельетонисты точат перья, даже благодарные стерляди в трактирных бассейнах — и те резвее играют в воде, словно говорят: слава Богу! скоро начнут есть и нас!

По всей веселой Руси раздается один клич: идет хозяин!

Идет и на вопрос: *quid est veritas?* твердо и неукоснительно отвечает: распивочно и навынос.

Вчерашние люди понимают, что хозяин придет совсем не для того, чтобы новое слово молвить, а лишь для того единственно, чтоб показать, где раки зимуют; они знают также, что именно их-то первыми он съест, чтобы затем, уже не опасаясь конкуренции, производить опыты упрощенного кровопийства; но неотразимость факта до того ясна, что им даже на мысль не приходит обороняться от него; гряди же, наш преемник, Разуваев, приди и слопай нас.

И я, Прогорелов, не имею возможности сомневаться: да, вы грядете; но, признаюсь откровенно, уверенность эта не наполняет моего сердца сладкой надеждой, как славящих тебя публицистов.

Горе — думается мне — тому граду, в котором и улица, и кабаки безнужно скулят о том, что собственность священна; наверное, в граде сем имеет произойти неслыханнейшее воровство.

Горе той веси, в которой публицисты безнужно и настоятельно вопиют, что семейство — святыня; наверное, над весью этой неволге разразится колоссальнейшее прелюбодеяние.

Горе той стране, в которой шайка шалопаев во все трубы трубит: *l'état — c'est sacré!* — наверное, эта страна незамедлительно превратится в расхожий пирог.

О, воображение! Представьте себе эту неслыханную свару, в которой отнятие перемешано с прелюбодеянием и терзанием пирога! осуществите ее в целой массе лиц, заставьте

этих людей метаться, рвать друг друга зубами, и в довершение всего киньте на хоры шутов-публицистов, умиленно поющих гимны собственности, семейственности и государственности. Бежать, бежать! Но куда бежать?

От Разуваева не скроешься: вот он шагает грузный, с отяжелевшей от винного угара головой и хмельной улыбкой на устах, вчерашний лакей из буфетной, копящий краденые куски, для своей выгоды реставрирующий сегодня крепостное право, не знающее ни границ, ни даже ясных определений; даже в эту торжественную минуту, когда журналистская братия призывает его: иди и володей нами! — даже в эту торжественную минуту он пускает враскос глаза, высматривая, не лежит ли где плохо; *quid est patria, quid est proprietas, quid est familia?* распивочно и навынос; ужели, милостивые государи, это прогресс.

Но хватит этих бессодержательных рассуждений; да свершится; история имеет свои повороты, которые невозможно изменить, а тем менее устранить; есть закон последовательного развития одних явлений из других; перед нашими глазами они возникают внезапно, но в действительности они давно уже подкрадывались; только мы, ошеломленные присущей прежнему порядку репутацией прочности, проглядели их; теперь мы видим себя бессильными не только для борьбы с ними, но и для смягчения бесполезных наглостей подкравшегося торжества.

Но да свершится: здравствуй, Разуваев; я, предшественник твой, Прогорелов, не протестую; хочу лишь поделиться с тобой моим опытом.

Я сам был в свое время столпом порядка, то есть — и отнимателем, и прелюбодеем, и изменником. Я не только не полагал в том греха, но и вполне искренне был убежден, что именно на этих трех китах мир стоит. Только теперь, когда меня бесповоротно произвели в чин пропащего человека (минутами у меня впечатление, что это наименование вообще однозначно с именем человека), я понял, что никаких тут китов нет. Ты, Разуваев, не был бы склонен осознать это до того, как упадешь?

Поэтому из глубин моего падения советую тебе: ежели

ты желаешь столповать продолжительно и благополучно, то не только не бери примеров с меня (к чему ты, мимоходом сказать, чересчур наклонен), но, напротив, поступай совершенно наоборот. Я равнодушествовал — ты сострадай; я бездействовал — ты хлопочи; свою собственность я считал единственно святой — ты расширь этот взгляд и на собственность ближнего; я держался правила: носа из мурьи не высывай — ты выбегай из мурьи как можно чаще, суй свой нос, суй! Хлопочи об концессиях, но не забывай и о соотечественниках. Это хорошо зарекомендует тебя в их глазах и их самих заставит надеяться и верить в лучшие дни. Выйдет ли что-нибудь из этих хлопот и надежд — это другой вопрос; и ежели ты хочешь, чтобы я ответил на него по совести, то изволь, отвечу: не выйдет ничего, потому что у тебя и на уме ничего такого, чтоб что-нибудь вышло, нет. Но все-таки, Разуваев, старайся, радей, хлопочи!

За сим моя приветственная речь кончена и я навсегда покидаю сцену: Прогорелов, некогда король жизни.

Гряди с миром, хищная морда; и вы, цепкие лапы, грядите; здравствуй, новых времен властитель.

## 73

Я, Щедрин.

Но ведь не совсем я.

Я, Щедрин — чтобы воплотиться во что-то, что было вне меня, чтобы жить на страницах книг, жизнью иной, чем в жизни, более простой, более обычной и менее болезненной; ни слишком простой, ни уж так совсем безболезненной; достаточно еще мучительной и беспокойной; и все же более легкой, чем собственное существование, наполненное невыразимым; говорящее о себе так же: я, о котором, однако, никакой другой не может и не имеет права сказать: я, а только: он, ты, вы, Михаил Евграфович.

Так вот я, Щедрин (то есть не совсем я), откладываю перо и умолкаю.

Уже слишком трудно, больше не могу.

Последних сил едва хватит на: он.

Но он — это именно я, полный я.

Будет сказка о нем, сказка — не сказка, может, элегия, назовем ее сказкой-элегией.

Однажды утром, проснувшись, Крамольников совершенно явственно ощутил, что его нет. Он торопливо ощупал себя, потом произнес несколько слов, наконец, посмотрелся в зеркале: оказалось, что он — тут, налицо. Мало того: он попробовал мыслить — оказалось, что и мыслить он может. И за всем тем для него не подлежало сомнению, что его нет.

К чести Крамольникова должен сказать, что он ни разу не задался вопросом: за что? Он понимал, что такой вопрос не только неуместен, но прямо свидетельствует о слабодушии вопрошающего. Он даже не отрицал нормальности постигшего его факта — он только находил, что нормальность в настоящем случае заявила себя чересчур уж жестоко и резко. Не раз приходилось ему в течение долгого литературного пути играть роль *anima vilis* перед лицом волшебства, но до сих пор последнее хоть душу его оставляло нетронутою. Теперь оно эту душу отняло, скомкало и запечатало, и как ни привычны были Крамольникову капризы волшебства, но на этот раз он почувствовал себя раздавленным.

(Раздавленным — я бы не употребил этого слова, если бы писал: я, но пишу: он, Крамольников. Я не должен стыдиться: это Крамольников позволил так притеснить себя новой ситуации; превосходно, выйдем с ним на улицу, слепую и глухую, где только камни вопият: караул! — и где один за другим встречаются недавние его друзья, либералы.)

И за дело. Будет с вас. Вы, сударь, не только себя, но и других компрометируете — вот что. Я из-за вас вчера объяснение имел, а нынче и не знаю есмь я или не есмь. А у меня между тем, сударь мой, жена и дети.

У меня жена и дети.

Из-за этого знакомства на вас неизгладимое пятно, сказал начальник.

А у меня жена и дети.

У меня жена и дети.

Хором: у меня жена и дети.

Крамольников понял, что отныне он осужден на одиночество. Читатель, который ценил его, а быть может и любил его, был далеко и разорвать связывающие писателя узы не мог. Близо был другой читатель, который во всякое время имел возможность зажалить Крамольникова до смерти. Этому читателю ненавистен был не только голос, но и самая немота Крамольникова.

И еще понял Крамольников, что во всех многочисленных отступничествах, которых он был свидетелем, кроется не одно личное предательство, а целый подавляющий порядок вещей. Что все эти вчерашние свободные мыслители, которые сегодня чураются его, как чумы, делают это потому, что их придавила вполне законная и естественная жажда жизни.

Неужто, спрашивал себя Крамольников, для того чтобы удержать за собой право на существование, нужно пройти сквозь позорное и жестокое иго? Неужели в этом загадочном мире только то естественно, что идет вразрез с самыми заветными и дорогими стремлениями души? Стало быть жена, дети, семья — должны отбирать у человека мужество и силу; забота о куске хлеба для самых близких — закреплять его неволю?

Тут изменился ход его размышлений.

Отчего же, отозвался в Крамольникове какой-то внутренний голос, эти жгучие вопросы не представлялись тебе так назойливо прежде, как представляются теперь? Не оттого ли, что ты был прежде раб, сознававший за собой какую-то мнимую силу, а теперь ты раб бессильный и придавленный? Отчего ты не шел прямо и не принес себя в жертву? Отчего ты подчинял себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стенами, а волновался ими только отвлеченно?

Из-под пера твоего лился протест, но ты облекал его в такую форму, которая. Все, против чего ты протестовал, все это и поныне стоит в том же виде, как и.

Тут обрывается сказка-элегия о Крамольникове.

Через некоторое время начинается другая история, героем которой является Имярек.

Имярек умирает.

Прародитель, лежа в проказе на гноище, у ворот города, который видел его могущество, богатство и силу, наверно не страдал так сильно, как страдал Имярек, прикованный недугом к покойному креслу, перед письменным столом, в теплом кабинете.

Праотец мог отлежаться на гноище; придут городские псы, залижут его раны — и опять родной город сделается свидетелем его могущества. Имярек ничего подобного в будущем не предвидел, потому что и псов таких ныне нет, которые могли бы зализать те раны.

Чего еще мог ожидать Имярек? Утра после бессонной ночи, а когда оно наступало: ах, хоть бы оно скорей прошло! Потом — весь день одиночества, уныния, тоски, и опять ночь, и ожидание утра. Зачем все эти утра, дни и ночи сменяют друг друга? что дальше? Все это вопросы такие, которые прародителю и во сне не снились. А между тем, в них-то именно и замыкается все мучение потухающей жизни.

Иногда навещали Имярека старые знакомые.

А вы как-будто похудели. А все-таки, по сравнению с прошлым годом — большой и даже очень большой успех. Ну, прощайте, я тороплюсь, у меня дела. Да, чуть не забыл вам рассказать, что у нас в сферах делается, умора!

Не интересует это меня.

Не интересует? напрасно! Это вас развлекло бы. Ну, так прощайте. Я тороплюсь, в самом деле тороплюсь.

В бесконечные зимние вечера Имярек невольно отдавался осаждающим его думам. Чем же было прошлое? К чему стремились люди, которые проходили перед его глазами, чего они достигли? Ужели общее дело жизни в том и состоит, что оно для всех отсутствует?

Были ли когда-нибудь у него друзья? Дружба, как известно, имеет подкладку по преимуществу материального свойства. Друзья должны быть прежде всего здоровы, веселы, хлебосольны. А тонкий вкус в еде и винах, умение рассказывать анекдоты, оживлять общество легкой беседой —

скрепляет дружбу и сообщает ей присутствие некоторого подобия мысли. Еще более скрепляют дружбу взаимные одолжения: Н. помог Т. проникнуть в такое-то учреждение; взамен того Т. помог Н. купить по случаю пару лошадей. Никакого образа мыслей тут не нужно; напротив, образ мыслей только производит раскол, раздор, смуту.

Были ли у Имярека такие друзья? Конечно, были, но чего-то как будто недоставало. Он был когда-то здоров, но никогда настолько, чтоб быть настоящим другом. Он бывал и весел, но опять же не настолько, сколько требуется от друга. Анекдотов он совсем не знал, гастрономом не был, в винах понимал очень мало. Жил как-то особняком, имел образ мыслей и даже в манерах сохранил нечто резкое. Ясно, что если б и могли при таких условиях образоваться зачатки дружбы, то они недолго бы устояли ввиду такого испытания, как тяжелая, безнадежная болезнь.

(Я не пишу: я, вы должны это заметить — не пишу: я, от меня никто не услышит вздоха о друге, о Имяреке пишу и только о нем.)

Затем Имярек подвергал анализу самую жизнь свою. Была ли эта жизнь такова, чтоб притягивать к себе людей даже в годину испытания? В чем состояло ее содержание?

Жизнь его была заурядная, серая жизнь человека, отдавшего себя известной специальности. Он был писатель по природе, но ничего выдающегося не произвел, и не „жег глаголом сердца людей”. Правда, что в каждой строке, им написанной, звучало убеждение, — так, по крайней мере, ему казалось, — но убеждение это, привлекая к нему симпатии одних, в то же время возбуждало ненависть в других. Симпатии утонули в глубинах читательских масс, не подавая о себе голоса, а ненависть металась воочию, громко провозглашая о себе и посылая навстречу угрозы. Около ненависти группировалась и обычная апатия среднего человека, который не умеет ни любить, ни ненавидеть, а поступает с таким расчетом, чтоб в его жизнь не вкралось недоумение или неудобство. Такое сомнительное содержание жизни Имярека должно было дать и соответственные результаты, а именно: в смысле общественного влияния — полная не-

известность; в смысле личной жизни – оброшенность, пренебрежение, почти поругание.

И вот теперь, скованный недугом, Имярек видит перед собой призрак прошлого. Все, что наполняло его жизнь, представляется ему сновидением. Он чувствует, что сердце его горит, он простирает руки, ищет отклика, он жаждет идти, возглашать. И сознает, что сзади у него повис ворох крох и мелочей, а впереди – ничего, кроме одиночества и оброшенности...

Я написал вещь об умирающем Имяреке.

Это обо мне.

Но я все живу; день, ночь, утро; написал, а все же живу.

Стасюлевич напечатает рассказ.

Это не я в рассказе – это он, Имярек.

Имяреку, который умирает, бесстыдно отдал я свой груз.

Легче.

И – Имярек умирает, а я дальше думаю и вспоминаю, и жажду.

Не он – я, Салтыков, Михаил Евграфович.

Неужели все было пустым, тщетным и горьким?

Неужели ничего не осталось – а тому, что осталось, ничего уже, хотя бы цепенеющей рукой, останавливающимся сердцем, последним усилием мысли, невозможно и не стоит прибавить?

За окном – снег.

Хлопья опадают медленно и монотонно, настойчиво и равнодушно, словно отработывают барщину или по поручению начальства строчат никогда не кончающиеся рапорты по несуществующему делу; но это дело существует, хоть хлопья не знают об этом, дело земли под снегом, жизни под снегом, засыпанных снегом порывов и совестей завязших в сугробах; идет снег, душно и грустно.

В детстве я выскальзывал из дому, чтобы на снегу выслеживать зверей и птиц.

Я не хотел на них охотиться, я хотел проверить, что они живут.

Теперь я тоскую по следу человека.

В романах Тургенева никогда не идет снег.

Когда я посетил его в Буживале, на нем был белый полотняный костюм и соломенная шляпа. Мы сидели в саду, в плетеных креслах, он поглядывал на меня своими лазоревыми глазами и улыбался. Сначала я не помнил про снег, но вдруг спросил Тургенева, когда он вернется в Россию. Он ничего не ответил и перестал улыбаться. Я не повторил вопроса. Полины при этом не было, однако я все время чувствовал ее присутствие, ограждающее его от родной метели.

Идет и идет, большими неуклюжими хлопьями.

Он перестал улыбаться, потому что на солнечном горизонте Буживаля увидел мерно падающий снег.

Не хотел дать закопать себя, но помнил.

Люди вязнут в снегу, проваливаются по шею, по ноздри, по глаза, и ртами полными снега бормочут: какой приятный климат.

Тургенев предпочел бегство лжи.

Я окружен лжецами.

Растеряли в снегу смысл всех слов.

Были такие слова: совесть, стыд, человечность.

Я хотел бы их напомнить людям.

Перо выпадает из рук, а за окном — снег.

Забывшие слова.

Это заглавие, я подчеркиваю его двумя чертами, однако начинаю не напрямик, но издалека, начинаю, как любил начинать много раз: со сна — выдуманного, но со значением.

Мне казалось, пишу я, что рука властная, хоть и невидимая, обняла меня и неодолимо тянет в зияющую пустоту. Я бессилен и не пытаюсь противиться загадочной силе, словно меня призвал какой-то рок. Чем глубже погружаюсь в необъятную даль, тем угрюмее становится перспектива,

тем быстрее опускается сумрак, тем яснее угасает жизнь под ярмом всеобщего омертвения.

Уже через несколько фраз пальцы цепенеют и мысли разбегаются.

Скрипящий рядом со мной пол вдруг напоминает мне Лицей.

Мне не хотелось в Лицей, но маменька была неумолима.

Ее интересовала не только моя будущая карьера.

В Лицее я был стипендиатом двора, это освобождало маменьку от крупных расходов.

Деньги.

Сколько даст Стасюлевич за то, что пишу?

Это каторга, каторга, но будем продолжать.

Серое небо, серое пространство, полное блуждающих серых видений. В сереющем болоте клубятся серые пресмыкающиеся, в сером воздухе беззвучно проносятся серые птицы; даже дорога осыпана серым пеплом.

В соседней комнате скрипит пол, за окном — снег, а в ушах непрекращающийся вой: ааа! — словно кто-то сходит с ума от боли и страха.

Всегда.

Всегда какой-нибудь Оболенский (хотя чаще с менее благородным именем) шпионил у дверей.

Всегда маменька говорила: нет.

Всегда выли поротые на гумне, поротые в полицейском участке, поротые на плаце муштры.

Всегда шел снег.

Всегда мне было трудно писать, но никогда — столь трудно.

Дальше, дальше.

Давят серые тона, но еще более давит молчание. Ни звука, ни шороха, всюду немая печать уничтожения.

Чем более углубляюсь в это ужасающее царство, тем мучительнее все мое существо пронизывает озноб и чувство тупой безнадежности, в которой все вокруг застыло и онемело. Недалека уже минута, когда и внутри все отомрет.

Я написал всего лишь несколько фраз, а прошли часы.

Но живу, значит должен писать.

Я писатель.

Я хотел бы, чтобы и Костя стал писателем.

Это профессия, которая.

Аааа!

Григорьев – почему вдруг Григорьев?

Граф Бобринский, член Государственного Совета, мой товарищ по Лицею.

Не знаю, откуда приплеклись эти фамилии.

Маменька вовсе не была скупой; когда я служил в Военном Министерстве, она прислала мне денег, чтобы я мог развлечься.

Бобринский взял меня к французским кокоткам.

Тогда еще говорили: лоретки.

У меня хорошая память, только не могу писать.

Parlons bas, parlons bas, ici près j'ai vu Judas.

Я не знал более красивой женщины, чем маменька в молодости. Когда я впервые увидел Лизу, она мне показалась похожей на нее. Я протянул руку, но Рашкевич.

Пустите, капитан!

Ведь я должен успеть.

Буду писать, даже если вы будете держать.

Вот я у цели: передо мной кладбище. Будто волнующееся море вдоль и вширь распростерлось безбрежными волнами могил. Одичалость и опустение всюду наложило свою печать. Святыня умерших в развалинах, ее открытый купол представляет убежище летучим мышам и ночным птицам. Колокол, который некогда призывал живых и оплакивал мертвых, лежит разбитый у подножья святыни; могильные плиты, ограды, – все повалено, поросло мхом и сорной травой.

Аааа!

Уберите этот вой.

Уберите снег из комнаты!

Ты не дал мне тулупа, Платон, а сейчас холодно.

Окостеневшей рукой буду писать, пока.

Кажется, что сам престарелый Адам сложил тут кости. За ним шли поколения, наслаивались друг на друга, пока, наконец, лоно земли не насытилось мертвыми и тогда.

Не могу.  
Не напишу.  
Уже не напишу.

77

Какие-то ходят, чего-то хотят.  
Не впускайте их.  
Я занят.  
Умираю.  
Похороните меня рядом с Тургеневым.  
Ха-ха-ха-ха!  
Чижик-пыжик, где ты был, на Фонтанке водку пил.  
Ха-ха-ха-ха!  
Это в гостиной.  
У Лизы гости.  
Кавалеристы от собственных острот гогочут, дамы бантиком складывают губки.  
Какой вы гадкий. Не говорите так, а то я рассержусь.  
Ха-ха-ха-ха!  
Лиза.  
Лиза!  
Выгони проклятых дамских угодников к чертовой матери! Ведь я у-ми-раю!  
Тишина.  
Шорох отодвигаемых стульев, удаляющихся шагов.  
Ах, Мишель, всегда так грубо. Никто уже не захочет навещать нас.  
Уже никто?  
Уже никто?  
Лизанька, милая моя.  
Ма-моч-ка.

К О Н Е Ц